
СЕРГЕЙ СОРОКИН
ТОМ 5
КОМАНДИР
БОМБАРДИРОВЩИКА

Командир бомбардировщика

Сергей Сорокин

# Командир бомбардировщика - 5

«Автор»
2026

**Сорокин С.**

Командир бомбардировщика - 5 / С. Сорокин — «Автор», 2026 — (Командир бомбардировщика)

Пятьдесят пять лет, тридцать лет в небе и последний боевой вылет. Подбитый ракетой, командир стратегического бомбардировщика Павел Иванов спасает экипаж и направляет горящую машину в цель. Но вместо смерти приходит новое падение — уже в чужом молодом теле, за штурвалом израненного самолёта над Балтикой августа 1941 года.У Павла есть опыт лётчика XXI века, но нет ни привычных приборов, ни надёжной техники, ни права объяснить, откуда он знает будущее этой войны. Вокруг — отступление, разбитые машины, люди на пределе сил и экипаж, который ещё только должен поверить своему командиру. А впереди — приказ, звучащий почти безумием: поднять тяжёлый бомбардировщик и идти на Берлин.Чтобы выжить, Павлу придётся заново освоить старое небо, вернуть в строй обречённую машину и научиться принимать решения, где цена ошибки — четыре жизни. Здесь не будет лёгких чудес. Только мастерство, ответственность и железная воля человека, который уже однажды выбрал не себя.

© Сорокин С., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1 5
Глава 2 13
Глава 3 20
Глава 4 28
Глава 5 37
Глава 6 46
Конец ознакомительного фрагмента. 49

# Сергей Сорокин
# Командир бомбардировщика - 5

## Глава 1



Плотный строй давал ощущение: ты видишь товарища, товарищ видит тебя. Это ощущение стоит дорого, и оно, к сожалению, часто врёт. Пяти минутам разнесения видимость не нужна вообще. Ей нужно, чтобы каждый выполнил своё и чтобы никто не строил решения на воображаемой близости другого.

Прямая связь у меня сейчас не работает. Рябова я не вижу и не слышу. И при этом порядок цел: я знаю, что он вышел, он знает время, когда я буду над целью, и он придёт смотреть.

Порядок выдержал потерю прямой связи. Это, если по-честному, самая крупная вещь, случившаяся со мной за эту ночь, и я один во всём самолёте понимаю её масштаб.

— Савченко, — говорю я.

— Я.

— Следующее окно у тебя когда?

Он называет.

— Вот к нему и готовься. В нём тебе надо будет передать, а не принять. Береги его. Если ты сейчас начнёшь долбить в эфир, пытаясь дозваться Рябова, ты его засоришь, а потом он увидит результат и не сможет сообщить.

— Понял, — говорит Савченко и добавляет то, чего я от него не ожидал: — Я тогда до окна руку с ключа уберу. Чтобы не соблазняться.

— Соблазняться, — повторяю я. — Хорошее слово.

— Простите?

— Ничего. Правильно говоришь.

*

— Поворот на боевой через сорок секунд, — говорит Литвинов. — И у нас впереди свет.

Я вижу.

Впереди и чуть правее, ещё далеко, на горизонте стоит рыжее. Не вспышка, не луч — ровное низкое свечение, какое даёт большой открытый огонь под облаками. Облака над ним подсвечены снизу и кажутся ржавыми.

Промышленный район.

Огонь стоит там, где мы видели его в прежнем вылете. Днём Синицын наконец принёс разбор плёнки из кассеты Гущина: выгоревший корпус западнее назначенного нам цеха, нужный цех на снимках различим отдельно. Копия с железнодорожной дугой и каналом у Аркадия. Чьи бомбы подожгли западный корпус, снимок не говорит; ещё в тот заход там уже горело до нашего сброса.

— Аркадий, видишь?

— Вижу, впереди справа. Горит.

— Савченко, у тебя в эфире?

— По-прежнему обрывки на дальнем. По ближнему — работают, много, коротко.

Много и коротко — это внутренняя жизнь их обороны: посты, батареи, кто-то кому-то передаёт наш курс.

Я перекладываю машину на предварительный подход по команде Литвинова и чувствую, как всё внутри меня выстраивается в одну линию.

Дальше — опознавание и выход на прямую. Ради этих секунд мы летели всю ночь.

И вот тут начинается третье столкновение этой ночи, и оно оказывается неожиданно тяжелее зенитного огня, потому что противник в нём — не зенитчик, а я сам.

Огонь впереди растёт.

Он становится подробным: я вижу отдельные очаги, вижу дым, наклонённый ветром, вижу, как внутри рыжего иногда вспухает светлее, и вижу, что вокруг огня — тьма, в которой угадываются прямоугольники и трубы.

Это самая соблазнительная картина, какую можно предложить ночному бомбардировщику.

Потому что вот она — цель. Видимая. Освещённая. Уже знакомая по прежнему заходу. Заходи, бросай в огонь, не промахнёшься, уходи домой с чистой совестью: горело — горит сильнее.

У меня всё тело хочет этого.

Я держу подход и жду штурмана.

— Аркадий.

— Смотрю, — говорит он. — Не мешай.

Секунды.

— Паша, — говорит он. — Пожар не там.

— Уверен?

— Дай мне двадцать секунд подхода, я тебе скажу, насколько уверен.

— Держу.

Двадцать секунд.

За эти двадцать секунд я успеваю пройти всю дорогу, которую в такие минуты проходит человек. Сначала — раздражение: он тянет, а мы на прямой. Потом — торг с самим собой: ну ведь горит там, недалеко, какая разница, там же тот же завод. Потом — тот самый профессиональный аргумент, самый опасный, потому что он звучит разумно: у нас мало топлива, экипаж смешанный, стрелок первый раз, и вообще лучше положить бомбы наверняка в горящее, чем сомнительно в тёмное.

Я знаю этот аргумент. Я его слышал от других и, наверное, от себя. Он всегда выигрывает, когда человек устал.

И ровно поэтому я не даю ему выиграть.

— Говори, — говорю я.

— Смотри со мной, — говорит Литвинов, и это лучшее, что он мог сказать: он не приказывает мне верить, он показывает. — Слева от огня, ниже, у самой границы света. Видишь тёмную полосу, изогнутую?

— Вижу.

— Это железнодорожная дуга. Она у меня на снимке и на схеме. Она изогнута в одну сторону, и она проходит южнее нужного нам корпуса. А наш пожар — видишь? — он западнее дуги.

— Вижу.

— Дальше. Второй признак: канал. — Он говорит быстрее. — Тёмная прямая, за огнём, поперёк. По схеме канал проходит восточнее нужного корпуса. Если бы горел нужный корпус, канал был бы у нас за огнём справа, ближе. Он у нас дальше и левее.

— Совпадает?

— Совпадает. Третий признак — трубы. Их три.

Пока мы идём на предварительном подходе, район смещается к левому борту. Литвинов ждёт, когда трубы выйдут в боковую часть нижнего обзора, и зовёт:

— Дюжев, слева сзади, у края пожара. Трубы видишь?

— Я... — Дюжев напряжённо: — Я вижу две высокие.

— Смотри между ними и чуть за.

Пауза.

— Есть третья, — говорит Дюжев. — Ниже и левее. Тоньше.

— Спасибо. — Литвинов почти рычит от удовольствия. — Три трубы, Паша. По схеме они стоят у нужного корпуса, с его западной стороны. То есть между нами и пожаром. Значит, пожар не у корпуса, а за трубами, дальше на запад. Это тот самый второстепенный корпус, который на контрольном снимке выгорел. Нужный нам — отдельно.

Я смотрю на этот рыжий, живой, огромный огонь и на тёмную полосу строений восточнее трёх труб, где не видно ничего, кроме темноты.

Вот такая у нас работа. Настоящее — там, где темно.

— Точку прицеливания? — спрашиваю я.

— Восточный край цеха, — говорит Литвинов. — Восточный, не центр. По двум причинам. Первая: мимо центра легче промахнуться в уже разрушенное. Вторая: на восточном краю по схеме пристройка и подъездные пути, и если серия ляжет вдоль, мы захватим и край цеха, и подъезд.

— Признак, по которому я его найду глазами?

— Тебе его глазами не надо искать, — говорит он резко. — Ты пойдёшь по прямой, которую я тебе дам, и не будешь искать глазами ничего. Твои глаза сегодня уже один раз хотели в огонь.

Он это заметил.

— Согласен, — говорю я.

— Но опору дам, — продолжает Литвинов. — Дюжев, на прямой старый пожар будет уходить слева назад, в твой сектор. Следи за его краем. Если свет начнёт заходить под фюзеляж, скажи сразу. Курс ведём мы, ты даёшь то, что видишь снизу и сзади.

— Я не понимаю, как я это назову, — честно говорит Дюжев.

— Просто: «свет слева сзади» или «свет под нами». Мне достаточно.

— Тогда смогу.

Я слушаю это и думаю о том, что произошло за последние тридцать секунд: решение о точке прицеливания перестало быть решением одного человека. Штурман нашёл, стрелок подтвердил третью трубу, стрелок же будет держать границу света. Я — везу.

В мою прошлую жизнь это называлось иначе и делалось техникой. Суть от этого не изменилась ни на копейку.

— Даю прямую, — говорит Литвинов. — Разворот начинай сейчас, заканчивай до створа, на прямой мне нужна ровная машина: если ты будешь дотягивать крен на боевом, я буду исправлять прицел на крене, и мы положим серию вбок.

— Заканчиваю разворот заранее, — говорю я и начинаю.

Машина кладётся в разворот. Правое колено включается в работу, я распределяю усилие между спиной, руками и коротким ходом педали — так, как научился делать за эти дни, чтобы не тратить ногу всю сразу.

Пожар уходит влево, наплывая на левый борт, и в его свете я вдруг вижу собственное левое крыло — рыжее, с каждой заклёпкой на виду.

Мы освещены.

Не прожектором. Тем самым старым пожаром.

— Есть створ, — говорит Литвинов. — Выводи. Крыло ровное. Так. Так. Держи.

— Держу.

Я выхожу на прямую и отдаю машину секундам.

— Свет слева сзади, под нами темно, — говорит Дюжев.

— Хорошо, — отвечает Литвинов. — Так и говори каждые несколько секунд.

С этого мгновения время в кабине меняет плотность. Я это знаю по прошлой жизни и по этой: на боевом курсе секунды перестают быть равными.

Первые пять секунд — пустые. Машина идёт, я держу, всё тихо.

На шестой снизу поднимается луч.

Он выходит не там, где записал Литвинов, — не слева, где остались те два, а справа, издалека, и идёт сначала мимо, потом начинает подтягиваться.

— Луч справа, — говорит Дюжев. — Идёт к нам.

— Держу прямую.

Вот теперь начинается то, за что нам, собственно, платят.

Я не могу маневрировать. Совсем. Литвинов на прицеле, и любое моё движение сейчас переводится в промах. Я могу только сидеть и ждать, пока меня возьмут или не возьмут.

Луч подтягивается и цепляет нас.

Кабину заливает.

Это не свет. Это удар по глазам, после которого несколько секунд не существует ни приборов, ни стекла, ни темноты снаружи — существует белое, и в этом белом плавают собственные слёзы. Правое крыло становится ослепительно-серым, и каждая заклёпка отбрасывает крохотную резкую тень.

Я отворачиваю голову от источника, не меняя положения рук, и ищу глазами приборы в этом мареве.

— Взял! — кричит Дюжев.

— Тише. Вижу. Аркадий, идём.

— Идём, — говорит Литвинов. Голос у него ровный. Он не поднимает головы от прицела, и я знаю, что для него сейчас в мире не существует ни луча, ни крыла, ни меня. — Держи. Держи, Паша.

Снизу под нами проходят трассы.

Их видно даже в прожекторном свете: длинные цветные плети, они идут наискось и как бы медленно, хотя летят быстрее всего, что есть в этом небе. Они проходят под кабиной, и я вижу их через нижнее стекло — так близко, что успеваю различить промежутки между пулями.

Тело делает то, что делает всякое тело: оно хочет уйти. У меня в руках лежит машина, у машины есть рули, и достаточно одного движения, чтобы это кончилось.

Я знаю, сколько это движение стоит.

Оно стоит того, что мы не сбросим на восточный край цеха. Оно стоит того, что весь наш ложный вход, все засечки Литвинова, честное «не разобрал» Савченко, третья труба Дюжева и Федин картон — всё это станет ничем, и мы вернёмся с бомбами или бросим их в чужой огонь.

— Держу, — говорю я вслух, и это я говорю не экипажу.

— Пятнадцать секунд, — говорит Литвинов. — Свет?

— Свет слева сзади, под нами темно, — говорит Дюжев, и я слышу, что он выговаривает это через зубы. — Под нами темно.

— Правильно. Десять.

Второй луч приходит слева и не находит. Первый держит нас, и я чувствую себя мухой на белой стене.

— Пять, — говорит Литвинов.

Трассы ложатся ближе. Под нами что-то коротко и тупо звонко ударяет — не осколок, скорее камешек в железо, так это ощущается.

— Три. Два.

И тут в этой белой, ослепительной, орущей секунде я успеваю поймать мысль совершенно посторонней ясности: вот это и есть то, чего не понимают те, кто рассказывает про войну как про подвиг. Подвиг — не то, что человек бросается. Подвиг — то, что человек четыре секунды не шевелит руками.

— Сброс! — говорит Литвинов.

Самолёт подпрыгивает.

Он всегда подпрыгивает, когда с него уходит вес, и всякий раз это ощущается как облегчение чужого тела, а не своего: будто у машины сняли с рук то, что она несла весь путь.

— Серия пошла, — говорит Литвинов. — Одной серией, вдоль.

— Ухожу.

Я не жду ни секунды.

Я перекладываю машину вправо — от луча, от трасс, в темноту. Литвинов сразу называет остаток до нижней черты, и я даю только короткое снижение в этих пределах. Дальше вниз нельзя; продолжаю уход разворотом, удерживая высоту.

Машина доворачивает на набранной скорости. В ушах меняется тон, ремни врезаются в ключицы, правое колено отвечает мгновенной резкой болью — я перенёс на него часть усилия, не заметив. Сразу говорю Аркадию: боль усилилась, педаль пока держу. Он повторяет и велит сообщить, если изменится опора.

Луч теряет нас. Белое кончается так же внезапно, как началось, и наступает тьма, в которой я минуту ничего не вижу, потому что мои глаза съедены.

Именно поэтому самолёт сейчас летит не по моим глазам, а по приборам, и я держу его по авиагоризонту и высотомеру, как по рельсам, и очень не люблю этот момент.

— Дюжев, что там?

— Взрывы! — Он говорит громко, без всякого порядка, и я ему это сейчас прощаю. — Взрывы, вдоль, один... четыре... больше! Слева от огня... нет, восточнее! Восточнее огня!

— Стоп, — говорит Литвинов. — Дюжев. Не оценивай. Опиши.

Пауза.

— Есть новые вспышки в тёмной части, — говорит Дюжев уже другим голосом. — Линией, наискось. Старый пожар отдельно, слева. Между ними тёмный промежуток.

— Хорошо, — говорит Литвинов, и я слышу, как он пишет. — Записываю: серия легла восточнее прежнего пожара, с тёмным промежутком между новыми вспышками и старым очагом. Это всё, что мы имеем право сказать.

— Там горит! — говорит Дюжев с обидой.

— Может, горит, — отвечает Литвинов ровно. — Может, это ещё разрывы. Отличить с уходящего самолёта я не могу, и ты не можешь. Через пять минут придёт человек, который посмотрит на это специально. Наше дело — не спутать ему картину своими словами.

И вот тут меня достаёт осколок.

Удар приходит сзади-справа, глухой, с металлическим звоном, — так, будто кто-то с силой бросил в самолёт гаечный ключ. Он проходит через конструкцию и отдаётся мне в спину через кресло.

Дальше ничего не происходит.

Это самое неприятное: ничего. Машина идёт, как шла. Приборы те же. Никакого дыма, никакого воя, никакой тряски.

Тело требует одного: прибавить режим и уйти как можно быстрее. Оно требует этого так настойчиво, что моя левая рука уже двинулась к секторам.

Я останавливаю руку.

«Если тебя подобьёт, не таскай машину на большом режиме, пока не посмотришь, что у тебя цело. Ты умеешь. Просто в темноте люди прибавляют от испуга».

Спасибо, Плешаков.

— Попадание, — говорю я в СПУ, и говорю тем самым обычным голосом, который у меня сейчас держится на честном слове. — Сзади справа. Экипаж, доклад с мест. По порядку. Штурман.

— Штурман цел, — говорит Литвинов. — У меня ничего не изменилось. Управление у тебя?

— Проверяю.

Я делаю то, что делают в такой момент, и делаю медленно.

Малое движение штурвалом влево — машина отвечает. Вправо — отвечает. По тангажу — отвечает, обычным своим большим плечом. Педали — сначала левая, коротко: идёт. Правая: идёт, и колено сообщает мне, что оно обо мне думает.

— Управление на месте, — говорю я. — Все три канала отвечают. Люфта не чувствую.

— Радист.

— Радист цел, — говорит Савченко. И через секунду, уже сам, без вопроса: — У меня дыма нет. Запаха горелого нет. Станция работает, лампы горят, слышу свой фон. Правее меня, ближе к борту, был удар. Я его слышал.

— Посмотреть можешь?

— Со своего места вижу... — Он замолкает, я слышу, как он двигается. — Вижу светлое место на обшивке, изнутри. Как будто край вывернут внутрь. Дыра есть, небольшая. Оттуда дует.

— Что-нибудь рядом повреждено?

— Не знаю, товарищ старший лейтенант. — Он говорит это без страха и без паники, и я понимаю, что за последние полчаса с этим человеком что-то произошло. — Отсюда вижу только обшивку. Провода у меня целые, я по своим прошёл. За то, чего не вижу, отвечать не буду.

— Правильно. Стрелок.

— Цел, — говорит Дюжев. — Установка ходит, люк на замке. У меня под ногами... ничего. Не капает.

— Смотри внимательно: не капает и не тянет?

Пауза.

— Не капает и не тянет, — говорит он. — Пахнет порохом, но это от моей стрельбы.

— Ты стрелял?

— Две коротких, когда трассы прошли. — Он говорит это неуверенно, будто ждёт выговора. — По вспышке внизу. В своём секторе. Я не гнался, я по Костенко: смотрел в край луча.

— Правильно сделал.

Я проверяю моторные приборы.

Обороты — обоим одинаково. Давление масла — оба в пределах. Температура головок — правый чуть выше левого, но в пределах, и это его обычная разница, которая была ещё на исправной машине. Давление топлива — в порядке.

— Моторные приборы в пределах, — говорю я. — Оба М-88 работают вместе. Режим не прибавляю.

— Почему? — спрашивает Дюжев.

Мальчик задаёт вопрос в неподходящий момент, и я ему всё-таки отвечаю, потому что от этого ответа зависит, как он будет действовать в следующий раз, когда командиром будет кто-то другой.

— Потому что я не знаю, что у нас порвано, — говорю я. — Пока я иду на этом режиме, машина летит. Если я сейчас прибавлю и у нас надорван силовой набор или пробит бак, я узнаю об этом так, что не успею ничего сделать. Сначала выясняем, потом прибавляем.

— А если надо быстрее уходить?

— Тогда я прибавлю, — говорю я. — Но я это сделаю, приняв решение, а не от испуга.

— Принял, — отвечает он после паузы. — Снизу сухо, продолжаю смотреть.

Голос ещё высокий, но вместо просьбы уйти быстрее я уже получаю доклад.

Мы уходим от района — без прибавки, на том режиме, который у меня был установлен. Высоту держу над нижней чертой Литвинова; ещё одним снижением скорость уже не купить. Это медленнее, чем хочется. Это единственный способ, который у меня есть.

Через полторы минуты Литвинов говорит:

— Курс на выход. И у меня к тебе счёт.

— Топливо?

— Топливо. — Он делает паузу, и в этой паузе я слышу, что там нет катастрофы, но нет и запаса. — Ты за ночь дважды работал режимом и один раз ушёл резко. Мне надо будет через двадцать минут пересчитать остаток по фактическому и, возможно, менять маршрут возврата на более прямой. С той оговоркой, что более прямой — это ближе к их аэродромам.

— Считай. Решать будем, когда посчитаешь.

— Савченко, — говорит Литвинов. — Твоё окно на передачу?

— Через одиннадцать минут.

— Готовь текст. Я тебе дам содержание, оно должно быть коротким.

— Слушаю.

— Пиши сейчас, — говорит Литвинов и диктует медленно, крупными словами, как человек, который сам сегодня дважды переписывал запись крупнее из-за замёрзшей руки. — Первая машина. Работу выполнила. Бомбы сброшены серией восточнее прежнего пожара. Между новым и старым — тёмный промежуток. Имеется попадание в фюзеляж, машина управляема. Иду на выход.

— И всё? — спрашивает Савченко.

— И всё.

— А... — Он мнётся. — А что попали, обязательно?

— Обязательно, — говорю я. — Не для жалости. Для того, чтобы на земле знали, что мы можем не дойти, и начали шевелиться заранее, а не когда мы не сядем.

— Понял.

Мы идём на выход, и у меня наконец появляется полторы минуты, в которые не надо ничего делать руками.

Я их использую по назначению: перестаю быть командиром и на короткое время становлюсь человеком, который только что был на прямой под прожектором.

Меня начинает трясти.

Не сильно — мелкой, противной дрожью в предплечьях и в бёдрах, и отдельно дёргается мышца над правым коленом. Это нормально. Это всегда приходит с запозданием, когда организм понимает, что его больше не собираются немедленно убивать, и решает предъявить счёт.

Я разжимаю левую руку, сжимаю, разжимаю. Смотрю в темноту впереди.

Перед вылетом Рябов стоял у моего крыла и говорил, что будет лететь один. Сейчас он где-то позади — по расчёту Литвинова, идёт к району и через несколько минут увидит два очага: старый на западе, и то, что мы сделали на востоке.

Я не знаю, что он увидит. Это самое странное чувство за всю ночь: я сделал свою часть, и дальше моя работа зависит от глаз другого человека, которого я не вижу и не слышу.

И это правильно устроено, потому что я себе сегодня уже дважды хотел соврать.

— Аркадий, — говорю я.

— Что.

— Спасибо за трубы.

— Трубы Дюжев увидел, — говорит Литвинов. — Я их искал, а увидел он.

— Дюжев, слышал?

— Слышал. — И после паузы, тихо: — Товарищ старший лейтенант, а можно спросить?

— Спрашивай.

— Мы попали?

Я смотрю на тёмное стекло, в котором отражается слабый свет приборов.

— Мы бросили туда, куда собирались, — говорю я. — Попали или нет — скажет тот, кто посмотрит. Может быть, Рябов. Может быть, снимок, если разведчик пройдёт.

— А вам не хочется знать сейчас?

— Хочется, — говорю я. — Очень. Настолько, что если я сам себе сейчас разрешу знать, я себе и навру.

Он больше не спрашивает.

Мы идём на выход, и под нами лежит чужая земля, и позади остаётся горящий район: старый очаг и отдельно от него место, где Дюжев видел наши новые вспышки. Долго ли там будет светло и что осталось от цеха, мы пока не знаем.

# Глава 2



Обшивку пробило сзади справа, за центропланом. Савченко видел вывернутый край, но до остального с места не добраться. После первого доклада я ещё раз вызываю нижнего.

— Нижняя точка цела, — докладывает Дюжев. Голос у него слишком старательный, как у человека, который первый раз читает вслух. — Установка ходит, лента подаётся, ко мне от пробоины не тянет; дальше своего места не вижу.

— Савченко?

— Приёмник живой, передатчик живой, антенна не оборвана, — отвечает радист. — Проверил на короткой посылке в повторитель. Ответили.

— Штурман?

— Приборы стоят, — говорит Литвинов. — Компас ведёт себя как компас. Высота держится над твоей нижней чертой.

Я заканчиваю разворот. Машина выравнивает крыло тяжело, но честно; высоту ниже черты мы не отдаём. Скорость лежит выше обычной; так я её и оставлю, пока не пройдём пояс огня.

Внизу справа горит два раза. Один пожар старый, широкий, разлёгшийся по земле жёлтым пятном, — он горел ещё до нас и будет гореть после. Второй узкий, злой, с отчётливо очерченным краем, и над ним поднимается тёмное.

Мой второй.

Я не имею права так говорить. Я видел вспышку, видел, как пошла серия, видел, как Литвинов согнулся к прицелу и потом откинулся с тем особенным лицом, которое у него бывает вместо слов. Всё остальное — надежда, а надежда в боевом донесении не фигурирует.

— Литвинов, время.

— Несколько минут с момента схода. — Он не поворачивает головы. — Рябов должен быть на входе.

— Савченко, окно.

— Держу. Молчу.

— Правильно делаешь.

Мы уходим от цели, и позади нас через это же небо сейчас идёт другой человек, у которого работа проще моей и тяжелее моей одновременно. Проще — потому что ему не надо угадывать. Тяжелее — потому что ему надо смотреть.

Я вытираю перчаткой стекло изнутри, хотя знаю, что мутнеет оно снаружи. Привычка. У человека, когда он ждёт чужого доклада, руки всегда находят себе занятие поглупее.

Рябов в эти минуты сидит в своей кабине и решает, добивать ему или нет. И я — старший пары, тот, кто всё это придумал, кто вытаскивал пять минут из спора с ним же, — сейчас не могу подсказать ему ничего, кроме того, что уже вложено в его планшет.

Собственно, в этом и была вся идея.

Держи, Рябов. Теперь она твоя.

Из второй кабины цель выглядит совершенно иначе, и штурман Рябова, младший лейтенант Бурцев, понимает это раньше, чем успевает досчитать до своей поворотной.

Он шёл сюда с картинкой в голове: старый очаг на западе и назначенный Иванову корпус восточнее. Если удар получится, там появится новый огонь. Всю дорогу он держал эту ожидаемую картинку, как держат в кармане монету — пальцами, не глядя. А теперь под ними одно сплошное зарево, и в этом зареве западный пожар работает как прожектор, направленный ему в глаза. Он заливает всё поле зрения жёлтым, выжигает подробности, оставляет на сетчатке плавающие пятна, и любое место восточнее его кажется просто тёмным. Просто ничем.

— Не вижу второго, — говорит Бурцев. — Товарищ капитан, западный слепит. Восточнее чернота.

Рябов не отвечает сразу. Он ведёт машину по расчётной, левой рукой поправляет положение головы — так, чтобы яркое пятно уходило за переплёт остекления, — и только потом произносит:

— Смотри мимо огня.

— Как это?

— Не в огонь. Рядом. Глаз за яркое цепляется, а тебе нужно тёмное.

Бурцев заставляет себя отвести взгляд на край, в сторону от пожара, на район, где по карте должен идти канал. Первые несколько секунд там действительно ничего. Потом глаз начинает отходить, и чернота оказывается не одинаковой: где-то она глухая, а где-то в ней проступает ниточка — узкая светлая линия, отражение чужого огня в воде.

Канал. Вот он.

— Вижу воду, — говорит Бурцев быстрее, чем следует. — Держу привязку от канала. Товарищ капитан, мне нужен ещё заход.

— Сколько?

— Круг. Один круг, и я скажу точно.

Рябов молчит ровно столько, сколько нужно, чтобы Бурцев успел услышать собственную просьбу со стороны.

Круг над целью, на которую только что положили серию. Круг там, где батарея уже проснулась, пристрелялась и ждёт второго дурака.

— Нет, — говорит Рябов. — Круга не дам.

Бурцев задерживает дыхание над прицелом; в переговорном устройстве слышен короткий вдох.

— Не успею привязать, товарищ капитан.

Рябов удерживает курс, проверяет высоту. Пожар смещается под крыло, и лишнего круга здесь не будет.

— Работай в оставшемся створе, — отвечает капитан по СПУ, не отпуская штурвала. — До выхода держу. Не хватит — доложишь, что не наблюдал. Круг ради подтверждения не дам.

Бурцев прикусывает изнутри щёку и наклоняется к нижнему стеклу.

Заход идёт. Земля ползёт под ними, зарево смещается вправо, водяная ниточка вытягивается и разворачивается, показывая свой изгиб. Штурман ведёт по ней взглядом, как ведут пальцем по строке.

Изгиб — вот он. Дальше по карте железнодорожная дуга. Дальше три трубы, которых сейчас не видно, потому что они темнее всего вокруг.

И тут западнее канала вспыхивает.

Не зарево — вспышка. Короткая, белая внизу и красная вверху, она на долю секунды вырывает из темноты контур: длинная крыша, ряд вертикальных теней вдоль неё, провал там, где крыши уже нет. Корпус. Бурцев видит его целиком — один раз, одно мгновение, как видят предмет при молнии.

— Есть! — вырывается у него.

Вспышка гаснет. Через две секунды внутри тёмного пятна лопается ещё раз, глуше, и следом ещё. Свет от этих разрывов не выходит наружу — он изнутри подсвечивает провал в крыше, и тот на мгновение делается похожим на окно, за которым мешают кочергой угли.

Вторичные.

Бурцев знает, что это значит, лучше, чем умеет объяснить. Так не горит облитая бензином стена. Так рвётся то, что внутри и что рваться не должно было.

— Товарищ капитан, восточный очаг есть, — говорит он, и теперь голос у него другой: без старательности, сухой. — Привязываю к каналу. От изгиба на северо-восток, порядка восьмисот. Длинный корпус, продольная ось вдоль канала. В нём вторичные разрывы, три штуки за полминуты, из внутреннего объёма. Западный пожар от него отдельно, дистанция большая, между ними тёмная полоса.

— Тёмную полосу видел сам или предполагаешь?

— Видел. Между ними не горит.

Рябов удерживает машину на прямой ещё несколько секунд.

Внизу, в тёмном корпусе, что-то опять коротко освещает провал.

Капитан думает не о том, красиво ли это. Он думает о своём грузе и о том, что ему сказано: проверить результат, добить при необходимости. Необходимость — слово, за которым стоит конкретный смысл. Если корпус цел и в нём работают, нужно бить. Если он вскрыт и в нём рвётся, то класть туда вторую серию — значит перепахивать уже перепаханное, а рядом, в трёх минутах лёта, стоит вторая точка, которую им дали как запасную и до которой у них хватает и топлива, и высоты.

— Бурцев. Твоё мнение: по нему работать надо?

Штурман отвечает не сразу, и Рябов это ценит.

— Нет, — говорит Бурцев. — По нему уже работает то, что внутри. Я бы отдал груз на запасную.

— Согласен. Запасную давай.

— Курс через двадцать секунд.

— Передавай наблюдение. Коротко, привязку не потеряй.

Стрелок-радист Ерохин уже наготове. Бурцев диктует ему по СПУ, и диктует не так, как хотелось бы сказать — «там всё горит, красота» — а так, как учили на той дурацкой доске с тремя колонками, которую штурман Иванова разрисовал мелом на стене землянки и над которой все сначала посмеивались.

Факт. Вывод. Решение.

— Передавай: западнее канала, от изгиба северо-восток восемьсот, длинный корпус, продольная ось вдоль канала. Наблюдаю в нём три вторичных разрыва из внутреннего объёма за тридцать секунд. Западный очаг отдельный, между ними тёмная полоса. Вывод: восточный объект поражён. Решение: груз на запасную.

Ерохин работает ключом. Повторитель на берегу берёт его, как брал на тренировках, и Бурцев, слушая обратный отсчёт квитанции, ловит себя на странном чувстве — будто он передал не сообщение, а вещь. Тяжёлую и чужую, которую нёс, пока не нашёл, кому отдать.

— Квитанция принята, — говорит Ерохин.

Рябов кладёт машину на новый курс.

— Бурцев.

— Я.

— Ты правильно просил круг. И правильно, что не настоял.

— Я и не настаивал, товарищ капитан.

— Настаивал. Внутри. Я слышал, как ты дышал.

Савченко поднимает руку, не оборачиваясь, и я вижу это движение краем глаза раньше, чем слышу его голос.

— Товарищ старший лейтенант, повторитель передаёт наблюдение второй машины.

— Литвинову.

— Записываю, — говорит штурман.

Дальше в кабине становится тихо в том смысле, в каком вообще бывает тихо на бомбардировщике: моторы гудят, воздух свистит в щелях, что-то мелко дребезжит за спиной, — но никто не говорит.

Я веду прямую. Я не имею права оборачиваться и не буду. Но затылком чувствую, как Литвинов пишет.

Он пишет долго. Слишком долго для короткого сообщения. Он повторяет принятые слова по СПУ, прерываясь на запись. Эти паузы я слышу сквозь всё остальное.

— Литвинов.

— Секунду.

Он никогда не говорит «секунду». Он говорит «принял», «есть» или молчит.

Я жду.

— Ну?

— Западнее канала, от изгиба на северо-восток восемьсот, — читает Литвинов, и голос у него ровный, слишком ровный. — Длинный корпус, продольная ось вдоль канала. Три вторичных разрыва из внутреннего объёма за тридцать секунд. Западный очаг отдельный, между ними тёмная полоса. Вывод: восточный объект поражён. Решение: груз на запасную.

Я считаю до трёх, прежде чем ответить. Это старая привычка, ей больше лет, чем этому телу.

— Восемьсот от изгиба, — говорю я. — Ты давал сколько?

— Я давал восемьсот тридцать. По моей привязке.

— По этой привязке — тот же корпус. Тридцать метров тут точнее наших ночных измерений, зато канал и длинная ось совпали.

— Он видел то же самое, — повторяет Литвинов, и вот теперь голос у него ломается — не в плаксивую сторону, а в ту, где человек вдруг перестаёт себя контролировать и коротко, сипло смеётся. — Павел Сергеевич. Он видел то же самое другими глазами, с другой высоты, через пять минут, и назвал ту же точку.

— Да.

— Я всю ночь держал в голове, что могу ошибаться. Что перенёс точку с горящего на тёмное и ошибся. Что вся эта дуга, трубы, канал — это я сам себе нарисовал.

— Знаю.

— Откуда?

— Оттуда, что я то же самое держал.

Он замолкает.

Я веду машину и вдруг понимаю, что у меня отпустило плечи. Не в голове отпустило — в теле. Между лопаток, где последние два часа стоял кол, теперь просто мышцы, обычные, уставшие.

Вот она, штука, которой я не мог объяснить Рябову в землянке позавчера. Когда я говорил про две функции — ведущего и контролёра, — он слышал «я пойду первым, а ты за мной проверять», и обижался, как обиделся бы всякий нормальный командир. А на самом деле речь была про это: про то, что человек, положивший серию в темноту, не должен потом всю обратную дорогу и весь следующий день грызть себя вопросом, во что он её положил.

Мы в этом ремесле почти всегда работаем вслепую и почти всегда сами себе судьи. Это плохо кончается. Не для самолёта — для человека. Человек начинает либо привирать себе в лучшую сторону, и тогда через месяц он уже герой, который каждую ночь что-нибудь уничтожает, либо привирать в худшую, и тогда через месяц он уже ни во что не верит и возит бомбы по кругу.

Другой глаз лечит и то и другое.

— Литвинов.

— Я.

— Запиши отдельно, что подтверждение пришло до нашей посадки и не от нас.

— Уже.

— И припиши, что он груз отдал на запасную.

— Тоже.

— Вот за это ему надо будет отдельно сказать.

— Скажешь.

— Скажу, — соглашаюсь я. — Только не сразу. Сразу он решит, что я его хвалю за послушание.

Через двадцать минут Литвинов заканчивает считать.

— Слушай внимательно, — говорит он. — Я посчитал по фактическому расходу, а не по табличному, потому что у нас была ночь с манёврами. Получается так. На прежний маршрут возврата — тот, что мы строили с запасом и с уходом в море — не хватает. Не «в обрез», а не хватает.

— Насколько?

— По текущей оценке минут на восемь полёта. Точнее не скажу.

— Варианты.

— Два. — Он говорит это как человек, который уже оба варианта пожевал и оба ему не нравятся. — Первый: идём прямым. Срезаем угол. Это экономит недостающие восемь минут с запасом, но проводит нас ближе к их ночным аэродромам и в зону, которую мы специально обходили на подходе.

— Второй?

— Второй: идём прежним и рассчитываем на то, что попутный ветер над морем нам поможет. Белова говорила про поворот вправо на средних высотах. Если он сохранился, он нам в спину на последнем отрезке. Тогда может хватить.

— Насколько это «может»?

Пауза.

— Это моя надежда, а не расчёт, — говорит Литвинов. — Оценка Беловой была на момент вылета, и она сама сказала, что это оценка. Я могу проверить только над водой, а к тому времени поворачивать будет поздно.

Я молчу секунд десять.

Это как раз та работа, за которую я получаю свои деньги и свои бессонные ночи в обеих жизнях: выбрать между двумя плохими вещами, имея неполные данные и уставший экипаж.

Я прохожу оба варианта не так, как их прошёл Литвинов, а со своей стороны.

Прямой маршрут. Ближе к их аэродромам. У нас пробитый фюзеляж, смешанный экипаж, стрелок-первогодок и одна нижняя точка. Если нас перехватят, у меня почти ничего нет. С другой стороны — короче, и топлива хватит наверняка.

Прежний маршрут. Дальше от них, зато последний отрезок мы пройдём на остатке, который зависит от ветра. И если ветра не будет, мы будем садиться не туда, куда собирались, ночью, на остатке, с пробоиной.

И тут меня царапает собственное воспоминание — не из этой жизни, а из той, где я ещё был пятидесятипятилетним и учил молодых.

Я им говорил: когда данных мало, выбирай тот вариант, в котором ты сохраняешь возможность что-то решить позже.

— Аркадий, — говорю я. — Третий вариант есть.

— Какой?

— Идём прежним, но не до конца. Строй мне точку, в которой мы окажемся над водой и в которой у меня будет ещё два решения: дотягивать до Кагула или идти на ближнюю площадку. Ту, которую У-2 проверял.

Пауза — и в ней слышно, как Литвинов соображает.

— Это... — Он останавливается. — Это можно. Луг у Асте ближе по нашему возвращению; двенадцать минут до Кагула тогда не тратим. Недостающие восемь перекрывает, но решать придётся до развилки. Тогда мне надо, чтобы ты над водой дал мне ровный участок и я взял фактический ветер. Если он есть — идём домой. Если нет — идём на площадку, и я это узнаю до того, как поворачивать станет поздно.

— Сколько тебе надо на этот участок?

— Две минуты ровно.

— Дам.

— И ещё, — говорит он. — Если мы пойдём на площадку, надо, чтобы там знали. Савченко.

— Слушаю.

— В следующем окне, после доклада о работе, добавишь: возможен уход на запасную, решение по фактическому остатку над водой.

— Есть. — И потом: — Товарищ старший лейтенант, разрешите доложить?

— Докладывай.

— Я в этом окне буду передавать не на дальний, а через повторитель. У меня дальний за всю ночь ни разу чисто не взял. Через повторитель дойдёт наверняка, хотя и медленнее.

Я улыбаюсь в маску.

— Кто тебе это объяснил?

— Никто. — Он мнётся. — Журавлёв говорил на земле, что повторитель — это третья точка. Я тогда не понял, зачем она. Теперь понял.

Вот так знание и переходит от человека к человеку: сначала слушают вежливо, потом не понимают, а потом однажды ночью, на пробитом самолёте, вспоминают и делают правильно.

— Передавай через повторитель, — говорю я. — И запиши себе на планшете: «дальний за всю ночь чисто не брал». Это доклад для земли. Тимке пригодится.

— Кому?

— Журавлёву. Он на земле ведёт эфирный журнал.

— Так это... это же не про нас, это про аппаратуру.

— Про аппаратуру, Савченко. Именно.

Мы летим дальше.

Пробоина за моей спиной свистит на своей ноте — тонко, монотонно, и через некоторое время я перестаю её слышать, а потом опять начинаю, и это самое противное в повреждённом самолёте: он всё время напоминает о себе не опасностью, а мелочью.

Правое колено занемело окончательно. Я переставляю пятку и понемногу меняю положение ноги, чтобы к посадке в ней осталась чувствительность. Не для себя. Для того, чтобы посадить машину с пробоиной ночью.

За пятьдесят минут до берега Савченко передаёт.

Он делает это долго, дважды повторяя, и в СПУ я слышу только, как он дышит между посылками.

— Принято повторителем, — говорит он наконец. — Подтвердили приём. Оба пункта.

— Что-нибудь для нас?

— Ничего. — И через секунду он добавляет то, что я как раз хотел услышать: — Новых сведений о второй машине не передавали. Я спрашивать не стал: это не мой вопрос, и эфир не для этого.

— Правильно.

Рябов уже прошёл над районом. Его штурман увидел тёмный промежуток, отделил новый очаг от старого; эти слова лежат у Аркадия в записи.

Я представляю, как второй борт выходил к огням, как молодой штурман сверял дугу и трубы, борясь с чужим светом в глазах. И как Рябов решал, бросать или нет. Я там за него не решал и решить не мог. Зато теперь у нас есть его наблюдение, не похожее на мою надежду.

— Аркадий, — говорю я. — Сколько до воды?

— Двадцать две минуты. Держись, Паша.

— Я держусь.

— Знаю. Я это для Дюжева сказал.

Мальчик снизу негромко хмыкает, и в СПУ впервые за ночь возникает что-то похожее на общий воздух между четырьмя людьми, которые пять часов назад были тремя и одним.

Я веду пробитую машину к воде, за которой лежит остров, а на острове — вешки, фонарь стеклом в землю, Плешаков с руками под фартуком, Лида, которая посмотрит не на моё лицо, а на колено, Тимка со своим журналом и Федя, которому я отдам обратно его картон.

И где-то позади, за расчётным интервалом, которого после всех манёвров я уже не знаю точно, идёт вторая машина и несёт домой своё наблюдение.

Море под нами не видно, но оно чувствуется: воздух становится другим, ровнее, и болтанка, которая тащилась с нами от самого берега, сходит на нет.

У береговой черты я даю Аркадию обещанные две минуты ровного хода. Он берёт повторную засечку по мысу и отмели, сверяет фактическое время, потом докладывает остаток до развилки на Асте.

— Попутная составляющая есть. По этому участку до Кагула хватает с нашим запасом. На Асте пока можем отвернуть; дальше пересчитаю перед следующим мысом.

— Продолжаем к Кагулу. Запасную не снимай с карты.

Савченко отмечает решение для следующего сеанса; теперь возвращение держится на свежем измерении, а не на надежде о ветре. Савченко ловит контрольные сеансы с промежутками, как договорено. Каждый раз, когда он поднимает руку, у меня внутри коротко подбирается: вдруг что-нибудь.

# Глава 3



На четвёртом сеансе — что-нибудь.

— Вторая машина, — говорит Савченко. — Товарищ старший лейтенант, у них компас.

— Что с компасом?

— Передают: расхождение курса с ожидаемым положением берега. Показание скачет. Просят проверяемую опору.

Вот это уже серьёзно, и вот это как раз тот момент, где всё может развалиться.

Проще всего сейчас взять их за ручку. У меня в кабине сидит лучший штурман, какого я знаю, у меня работает связь, у меня в голове карта — и мне очень хочется сказать: Рябов, иди по моему курсу, я тебя выведу.

И это было бы ошибкой. Дорогой ошибкой.

Потому что я не вижу его высоты, не знаю его фактического ветра, не знаю остатка, не знаю, сколько у него в баках и как у него отзывается машина. Я передам ему свою линию, он ляжет на неё, и мы получим двух слепых, идущих в затылок друг другу, причём второй будет уверен, что первый зрячий.

Надо дать не курс. Надо дать точку, от которой он сам построит курс.

— Литвинов. Что у нас есть проверяемого?

— Маяк-ориентир. — Он уже водит карандашом. — Не маяк, разумеется, огня нет. Мыс. Мы его проходили в пять двенадцать, я взял пеленг и время.

— Он его тоже проходил?

— Не знаю. Мы шли разными.

— Вот и скажи, чего не знаешь.

Литвинов диктует Савченко координаты характерного мыса, время прохода и взятый пеленг. Нашу высоту и измеренный ветер даёт отдельно, с временем наблюдения. Радист сверяет группы, повторяет цифры штурману и берётся за ключ.

— Только опору, — напоминаю я. — Курс за Рябова не строим: у него своя высота и своё положение.

— Передаю координаты, время и пеленг. Остальное он сверит со своей картой, — отвечает Савченко.

Дальше идут минуты, которые я не люблю.

Вести машину и знать, что где-то в стороне и сзади другой человек сейчас сидит над картой с прыгающим компасом, — это особый вид работы. Особенно если ты этому человеку три дня назад доказывал, что он не должен держаться за строй.

Ведь он мог бы сейчас идти у меня на крыле. Видеть мой силуэт, слышать мои моторы, и никакой компас был бы ему не нужен.

Вот она, цена. Ровно то, о чём говорил Рябов, когда защищал плотный строй: «Мне молодых терять не хочется, они в одиночестве пропадут».

Я тогда ответил, что предлагаю не одиночество, а разные функции. Красиво ответил. А сейчас сижу и считаю секунды до его следующей передачи.

— Товарищ старший лейтенант, — Савченко оборачивается, и в полумраке я вижу белки его глаз. — Есть.

— Читай.

— «Мыс прошли пять девятнадцать. Опознали по очертанию берега. Сверили направление с картой: ошибка компаса около восемнадцати. Держу по проверенному направлению, до выяснения причины указателю не доверяю. Опора достаточна».

Я выдыхаю.

— Ответ?

— Ответ: принято, следующий сеанс через двенадцать минут. Больше ничего.

— Ничего?

— Ничего, Савченко. Хвалить будем на земле.

Литвинов отрывается от планшета.

— Восемнадцать градусов. Это у них что, девиация поплыла?

— Или железо близко к картушке положили, — говорю я. — Или тряхнуло на выходе. Разберётся Руденко, не мы.

— Восемнадцать градусов на нашем плече — это километров сорок в сторону.

— Ага. И в этих сорока километрах вода.

Литвинов молчит, потом коротко стучит карандашом по планшету.

— Хорошая опора была.

— Хорошая, — соглашаюсь я. — Ты её с пяти двенадцати держал зачем?

— Привычка.

— Вот привычку и запиши. Отдельной строкой. Брать пеленг на характерный ориентир, даже когда он не нужен.

— Записать «на всякий случай»?

— Нет. Записать «чтобы у другого экипажа были координаты и признаки для независимой сверки».

Берег приходит, как всегда, раньше, чем ждёшь, и позже, чем хочешь.

Сначала меняется цвет внизу — вода перестаёт быть просто отсутствием чего бы то ни было и делается чуть-чуть светлее черноты. Потом Литвинов говорит: «Кромка». Потом я вижу её сам, и отдельно вижу, как по левому краю тянется полоса тумана, лежащая в низине.

— Савченко, дом.

— Запрашиваю.

Кагул отвечает. Полоса свободна, ветер такой-то, проход правее старой оси, вешки на местах.

— Заходим, — говорю я. — Всем по местам, крепления.

— Верхняя закреплена, — докладывает Савченко.

— Нижняя закреплена, — отвечает Дюжев. За ночь его голос стал ровнее.

Мы садимся.

Ничего интересного в этой посадке нет, и слава богу. Колёса берут землю, машина идёт по проходу, пыль встаёт за хвостом, и мне впервые за шесть часов не надо ни о чём думать быстрее, чем происходит.

Я рулю к капониру, и всё это время у меня в затылке сидит одно.

Вторая машина.

Мне хочется спросить немедленно. Но пока второй ещё в расчётном времени, посадочную частоту не занимаю: сначала освобожу проход.

Плешаков встречает нас у стоянки с колодками. Останавливаю, глушу, снимаю шлемофон. В уши сразу входит утро: лопаты, чей-то далёкий смех, скрип тачки.

И в этот момент из репродуктора у командного пункта, слабо, через всё поле, доносится обрывок:

— ...седьмой, посадку разрешаю, боковой проход...

Седьмой — это Рябов.

Вот теперь можно.

Я сажусь на край кабины и несколько секунд просто сижу, свесив ноги внутрь, и ничего не делаю. Колено ноет — ровно, привычно, как старый долг. Пальцы плохо разгибаются.

Потом я слышу его моторы. Сначала звук идёт от моря, невнятный, потом делается отчётливым, потом машина проходит над полосой, разворачивается и садится — грубовато, с козлом на втором касании, но садится.

— Ну вот, — говорит Литвинов снизу. Он уже на земле, держит планшет правой рукой. — А ты, Павел Сергеевич, всю дорогу делал вид, что тебе всё равно.

— Я и сейчас делаю.

— Ага. Оно и видно по тому, как ты шлемофон мнёшь.

Я смотрю на свои руки. Шлемофон в них действительно скручен в жгут.

Савченко выходит раньше меня и становится у подножки, как учила Лида. На его плечо и на левую ногу я переношу вес спокойно, без прыжка; уже на земле Лида щупает распухшее колено и ведёт нас на осмотр.

— Литвинов.

— Я.

— После осмотра иди к его штурману. Пока горячее.

— Что спросить?

— Не спрашивать. Слушать. Пусть сам расскажет, как он там восточный вытаскивал. И запиши, чем именно он его нашёл. Не «увидел», а чем.

— Есть.

К одиннадцати всё это перестаёт быть нашей внутренней радостью и становится бумагой.

Бумага приходит из штаба вместе с Гордеевым, который идёт через поле быстрым шагом, придерживая планшет под мышкой, и по его походке я уже понимаю: там не разнос.

— Иванов.

— Здесь.

— Кассету проявили.

Он говорит это и делает паузу — короткую, как человек, который знает цену такой паузе.

— И?

— И совпало. — Гордеев вынимает из планшета лист. — Разведчик днём прошёл. Я тебе сейчас читать не буду всё, прочтёшь сам. Главное: корпус вскрыт по длине, кровля обрушена на протяжении около трети, у восточного торца выгорело. Прилегающие строения целы. Западное пожарище — то, что и было, старое.

Я беру лист.

Буквы плывут, и это не от волнения — это от шести часов ночного полёта и от того, что я до сих пор не спал.

— Значит, не в район, — говорю я.

— Значит, не в район. — Гордеев забирает лист обратно, аккуратно. — В корпус.

Рядом стоит Литвинов и молчит. У него на скуле грязный след от карандаша, а левая кисть в свежей повязке — Лида перебинтовала утром.

— Товарищ капитан, — говорит он вдруг. — А разведчик не мог принять западное за наше?

— Мог бы, если бы ему не дали привязку к каналу. — Гордеев смотрит на него внимательно. — Твоя привязка?

— Моя и Бурцева. Обе.

— Обе и сработали. Он искал по каналу, а не по зареву.

Литвинов кивает и отходит на шаг, и я вижу, как у него дёргается угол рта — он сдерживает улыбку и злится на себя за это.

Ну и пусть злится. Пусть привыкает к тому, что работа может быть подтверждённой.

— Иванов, — говорит Гордеев. — Приказ по части будет читаться в полдень. Зайди к писарю, посмотри.

— Зачем мне смотреть?

— Затем, что ты обязательно придёшь потом с претензией, а мне переписывать.

Он прав.

Я прихожу к писарю, читаю — и прихожу с претензией.

Писарь, пожилой сержант с чернильным пятном на среднем пальце, выслушивает меня, не поднимая головы, и только вздыхает.

— Товарищ старший лейтенант, я как продиктовали.

— Кто диктовал?

— Из штаба сформулировали.

Я читаю ещё раз.

Экипажи под командованием старшего лейтенанта Иванова и капитана Рябова в ночь на такое-то выполнили удар по промышленному объекту. Результат подтверждён. Отличились: старший лейтенант Иванов, капитан Рябов.

Всё.

Две фамилии. Обе — пилоты.

И вот здесь во мне поднимается очень старое и очень знакомое раздражение. Я его помню по другой жизни, по другим приказам, где в графе «участвовали» стояли позывные бортов, а техник, который в минус двадцать восемь на ветру менял агрегат и уложился к сроку, не стоял нигде.

Это не про награды. Награды — ладно, награды дело такое. Это про то, кто, по мнению бумаги, делает работу.

— Дай перо.

— Товарищ старший лейтенант...

— Дай перо, я не в приказ буду писать, а на отдельном листе. Понесу к капитану.

Гордеева я нахожу в блиндаже. Он ест — консервы прямо из банки, ножом, — и по тому, как он ест, видно, что это первая еда с вечера.

— Ну?

— Приказ неполный, товарищ капитан.

— Мало тебе двух фамилий?

— Мне двух фамилий много.

Он кладёт нож.

— Развивай.

— Штурманы. Оба. Литвинов перенёс точку с горящего на тёмное и взял пеленг на мыс, который потом вывел вторую машину. Бурцев опознал корпус против слепящего пожара и дал привязку, по которой днём работал разведчик. Радисты: Савченко держал повторитель, когда прямой канал ушёл, Ерохин передавал наблюдение. Наземный повторитель — расчёт связи. И техники.

— Все техники?

— Нет, — говорю я. — Не все. Я не буду списком сыпать, кого помню. Я не помню, кто конкретно работал ночью на подготовке. Пусть Плешаков назовёт свою смену, а Руденко — свою. Их фамилии, не мои догадки.

Гордеев молчит, глядя на банку.

— Иванов, ты понимаешь, что если я в каждый приказ начну вписывать по двадцать фамилий, это перестанет что-нибудь значить?

— Понимаю. Поэтому не в каждый. В этот.

— Чем этот особенный?

— Тем, что он первый, где результат доказан не нами. — Я сажусь напротив, потому что стоять уже трудновато. — Товарищ капитан, у нас третий месяц люди возят бомбы в темноту и сами себе рассказывают, что попали. А тут первый раз получилось иначе: одна машина положила, вторая независимо увидела, разведчик днём подтвердил. Это сделали не два пилота. Это сделали человек пятнадцать, и половина из них не летала.

— И что ты хочешь получить?

— Чтобы пятнадцать человек услышали, что они это сделали. Один раз. Дальше пусть будет как обычно.

Гордеев берёт нож, отрезает кусок, жуёт.

— Бурцев, говоришь, против пожара работал.

— Ему в глаза светило. Он попросил круг, Рябов не дал, он всё равно нашёл.

— Рябов не дал круг?

— Не дал.

Капитан хмыкает.

— А ведь мог. Свалил бы потом на необходимость.

— Мог.

— Ладно. — Он отодвигает банку. — Зови Плешакова и Руденко. Пусть дают своих. И Рябова зови, он сам скажет про штурмана, а то ты за него скажешь и получится, что ты и его начальник тоже.

Это точный удар, и я его принимаю.

— Есть.

Связной приводит Рябова вместе с Плешаковым. Капитан сам называет Бурцева и Ерохина, поясняет, кто взял привязку и кто передал её. Гордеев велит писарю вписать обоих, Рябов возвращается к проверке компаса.

Плешаков, оставшись у стола, вытирает руки ветошью и долго не может понять, чего от него хотят.

— Смену? Какую смену?

— Кто ночью на подготовке работал у обеих машин.

— Ну... — Он смотрит в потолок блиндажа. — Кириченко, Гнатюк, Мошкин. Мошкин на второй половине, он у Рябова свечи перебирал. И Тарасенко, но Тарасенко только подвозил.

— Подвозил — значит работал.

— Товарищ старший лейтенант, он на телеге сидел.

— А если бы он на телеге не сидел, чем бы вы свечи перебирали?

Плешаков смотрит на меня с тем выражением, которое у техников обозначает «пилот опять говорит непонятное, но вроде в нашу пользу».

— Ну, пишите Тарасенко.

Руденко называет своих и добавляет от себя оружейника Гриценко — того, кто ночью переставлял подвеску.

— Он у меня не в подчинении, — говорит Руденко. — Но если его не впишете, я приду и спрошу.

— Не приходи, впишем, — говорю я, подвигая ему список для проверки.

К полудню список получается в двадцать одну фамилию, и Гордеев, читая его, дважды поднимает брови, но ничего не вычёркивает.

Приказ читают у котла.

Так вышло не по замыслу, а потому что в полдень у котла всё равно все, а строить людей отдельно — значит отнимать у них те полчаса, которые они могут проспать сидя.

Кухня стоит между двумя грудами хвороста, и от неё идёт тот густой, тяжёлый запах, который на аэродроме сильнее любого другого: перловка, тушёнка, дым. Повар, Мыкола, огромный человек с обожжённым предплечьем, черпает и стучит черпаком о край котла — так он считает порции.

Гордеев становится у котла, разворачивает лист.

Люди слушают вполуха. Это нормально. Приказы читают часто, а есть хочется всегда, и человек, у которого в руках горячая миска, физически не способен сосредоточиться на казённом обороте «за проявленные».

Я стою сбоку и смотрю на лица.

Первые строки проходят мимо всех. Кто-то дует на ложку, кто-то оборачивается к соседу. Гордеев читает про удар, про подтверждение, про Иванова и Рябова.

А потом доходит до списка.

— Штурман старший лейтенант Литвинов. Штурман младший лейтенант Бурцев. Стрелок-радист Савченко. Стрелок-радист Ерохин. Расчёт наземного поста связи: сержант Долгих, красноармеец Пинчук.

Гул у котла не то что затихает — он меняет тон.

Долгих — это тот мальчишка с оттопыренными ушами, который этой ночью сидел на повторителе и которого я до сих пор про себя называл «повторитель», а не по фамилии. Сейчас он стоит с миской в третьем ряду и перестаёт жевать.

Пинчук рядом с ним оборачивается, будто ищет, кто это сказал. Гордеев продолжает: за работу на контрольных сеансах и подготовку сменщиков — Гурьев, Журавлёв, Костенко. Федя поднимает голову, Тимка осторожно поворачивается к нему всем корпусом.

— Техники: старший техник-лейтенант Плешаков...

И вот тут Мыкола перестаёт черпать.

Он стоит с занесённым черпаком, и очередь перед ним замирает, и никто не возмущается, потому что все уже поняли, что сейчас будет.

— ...техник Руденко, младший воентехник Кириченко, механик Гнатюк, механик Мошкин, красноармеец Тарасенко...

Тарасенко стоит в самом конце очереди.

Ему лет девятнадцать, у него длинная шея и оттого вид вечно вытянувшегося. Когда звучит его фамилия, он сначала не реагирует. Потом соображает. Потом смотрит по сторонам — не шутка ли — и краснеет так, что это видно через загар и грязь.

Сосед толкает его локтем.

— Це ж ты.

— Та я ж тільки возив.

— Ну и шо. Возив.

Мыкола зовёт Тарасенко к котлу. Соседи пропускают его вперёд, кто-то подталкивает за плечо; парень протягивает котелок, всё ещё оглядываясь на очередь. Повар опускает черпак и наливает ему полную, не по краю, а с горкой, и сверху кладёт лишний кусок хлеба, чего он не делает никогда и никому.

— Оружейник старшина Гриценко, — дочитывает Гордеев. — ...и далее по списку.

Он сворачивает лист.

И вот что происходит дальше.

Никто не кричит «ура». Никто не бросает шапку. Строевого восторга, которого я, честно говоря, боялся, не случается.

Вместо этого происходит то, чего я не предусмотрел и что оказывается лучше всего, что я мог придумать.

Люди начинают разговаривать.

— ...а ты его на чём поймал-то, восточный?

— Да я не сразу. Он мне в глаза бил, западный. Капитан говорит: смотри мимо огня...

— Как это мимо?

— А вот так. Не в огонь, а рядом. Оно, знаешь, когда в яркое смотришь, всё остальное чёрное. А отведёшь — и видно, что чернота-то разная...

Это Бурцев. Он сидит на ящике с миской на коленях, и вокруг него уже человек шесть, включая двух молодых штурманов, которые позавчера смеялись над доской с тремя колонками.

С другой стороны Савченко объясняет, размахивая ложкой:

— ...а я на дальнем ничего не слышу. Пусто. Ну, и что мне делать? Я же не могу сказать: слышал, когда не слышал.

— И что?

— А я на повторитель. Долгих сидит, принял, мне минуту выхода отдал. Одну минуту. Мне больше и не надо было.

Долгих, услышав своё имя, немедленно утыкается в миску, но уши у него делаются свекольные.

Я стою и слушаю, и понимаю, что вот это — то самое.

Не приказ. Приказ — только повод.

Важно, что двадцать один человек сейчас имеет право рассказывать про эту ночь как про свою. Не слушать, как про неё рассказывают, а рассказывать. И следующей ночью, когда Долгих будет сидеть на повторителе в четыре часа утра и бороться со сном, у него будет в голове не абстрактный долг, а конкретная минута выхода, которая кому-то понадобилась.

Гордеев подходит, встаёт рядом.

— Ну что, доволен?

— Доволен.

— Двадцать одна фамилия.

— Двадцать одна.

— В следующий раз будет пять.

— В следующий раз и надо пять, — говорю я. — Двадцать одна была нужна один раз.

Он смотрит на очередь у котла, где Тарасенко уже сел на землю и ест свою горку, старательно делая вид, что ничего особенного не произошло.

— Хитрый ты, Иванов, — говорит Гордеев без выражения и уходит.

Рябова я нахожу у его машины через полчаса.

Он стоит на стремянке у левого борта, наполовину влезши в кабину, и оттуда торчат его ноги и зад. Внизу Руденко держит снятый компас и рассматривает его на свет с выражением человека, которому показали чужую нечистую работу.

— Семён Иваныч. Нашли?

Руденко поворачивается.

— Нашли, товарищ старший лейтенант. Идите сюда.

Я подхожу.

— Вот, — он показывает компас. — С ним всё хорошо.

— А что плохо?

— А плохо вот это. — Руденко кивает на кабину.

Рябов выбирается на стремянку, держа плоский железный ящичек для сигнальных патронов. Защёлка цепляется за край люка, капитан зло высвобождает её.

— В июле сунул под доску. Месяц лежал, ничего, — говорит он, опуская ящичек рядом с прибором.

Руденко берёт его за угол и медленно подносит к компасу. Картушка поворачивается вслед за железом. Рябов смотрит, стиснув край стремянки.

— Восемнадцать, — говорит Руденко. — Может, и не ровно восемнадцать, но порядок тот.

— Так он же месяц лежал! — говорит Рябов. — Месяц, и хоть бы что!

— Он месяц лежал, где положили, — отвечает Руденко. — А потом вы четыре часа болтались, и он сполз. Может, на пять сантиметров сполз. Вам этого хватило.

# Глава 4



Рябов смотрит на ящичек в чужих руках.

Я знаю, что он сейчас чувствует, потому что сам это чувствовал, и не один раз: когда выясняется, что смертельная штука была устроена тобой самим, буднично, походя, много недель назад.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит он, не глядя на меня. — Вы сейчас скажете что-нибудь про порядок в кабине.

— Не скажу.

— Скажете.

— Рябов, — говорю я. — У меня в тринадцатом у правого борта до сих пор лежит запасной ключ. После ремонта увидел и оставил: вдруг понадобится. Вечером выну.

Он поднимает голову.

— Правда лежит?

— Правда.

— И вы про него забыли?

— Забыл начисто. Вспомнил вот сейчас, глядя на вас.

Руденко хмыкает и уносит компас.

Мы остаёмся вдвоём у стремянки. Над нами гудит муха, где-то на той стороне поля с грохотом роняют что-то железное, и там же немедленно начинают ругаться.

— Бурцева в приказ вписали, — говорит Рябов.

— Вписали.

— Хорошо, что Гордеев не ограничился нами двумя.

— Хорошо, что вы сами назвали своих. Я за всех фамилий не знал.

Рябов кивает и вытирает щёку рукавом, размазывая полосу шире.

— Он утром ходил как именинник, — говорит он. — Потом сел за карту и до сих пор сидит. Говорит, надо записать, пока помнит.

— Вот за это я, собственно, и пришёл.

— За чем?

— Вы ему круг не дали.

Рябов сразу твердеет лицом.

— Не дал.

— Почему?

— Потому что по нам уже стреляли, и второй заход над той же точкой — это...

— Я не про то спрашиваю, — перебиваю я. — Причину я знаю, я бы тоже не дал. Я спрашиваю: почему вы при этом не отменили ему задачу?

Рябов молчит.

— Другой бы сказал, — говорю я, — «круга нет, значит, и подтверждения не будет, пиши: не наблюдал». И был бы прав, и никто бы к нему не придрался. А вы сказали: работай в том заходе, который есть, а не хватит — так и скажешь.

— Ну сказал. И что?

— А то, что он в этом заходе нашёл.

Рябов смотрит на свои руки.

— Знаете, что я думал, пока он там сопел? — говорит он. — Я думал: ну вот, сейчас не найдёт, и вся ваша затея развалится, и я буду тот, кто её развалил. И буду виноват, хотя всё сделал правильно.

— И?

— И решил, что пусть. Я ему круг дать не мог. Значит, могло не получиться. Значит, надо было признать, что не получилось.

— Вот, — говорю я.

— Что «вот»?

— Вы сейчас описали ровно то, ради чего всё это затевалось. Я вам позавчера полчаса объяснял и не объяснил. А вы за пять минут над целью сделали.

Рябов фыркает.

— Иванов, вы мне позавчера объясняли, что мой строй никуда не годится.

— Я объяснял не это.

— Это я услышал.

Он говорит без злости, устало, и я понимаю, что он с этим ходил все двое суток.

— Рябов. — Я сажусь на нижнюю ступеньку стремянки, потому что колено велит сесть. — Вы тогда сказали: молодых терять не хочу, они в одиночестве пропадут. Помните?

— Помню.

— Так вот, я вчера всю обратную дорогу считал минуты до вашего сеанса. И когда Савченко сказал, что у вас компас, у меня первая мысль была — дать вам мой курс.

— Почему не дали?

— Потому что мой курс вам не подходил. У вас была другая высота, другой ветер и другой остаток. Я бы вам дал уверенность вместо опоры. Уверенность — штука хорошая, пока не выяснится, что она чужая.

Рябов долго молчит.

— Мыс этот, — говорит он наконец. — Я его прошёл на семь минут позже вас. Семь минут. Если бы Бурцев не проверил очертание мыса и направление по своей карте, мы могли бы принять другой выступ берега. Тогда и ваши цифры только запутали бы.

— И что бы делали?

— Пошёл бы на юг до берега, а там вдоль. Долго, зато с землёй.

— Правильно бы делали.

— Долго, — повторяет Рябов. — Горючего бы впритык.

— Впритык — это не насухо.

Он усмехается.

— Иванов, вы вообще когда-нибудь пугаетесь?

Я думаю, как ответить, и решаю ответить честно.

— Постоянно, — говорю я. — Только пугаюсь заранее и по частям. На это уходит всё моё воображение, и на месте уже ничего не остаётся.

Рябов смотрит на меня со странным выражением.

— Сколько вам лет?

Вот этот вопрос я не люблю.

— Двадцать.

— Врёте.

Внутри у меня что-то холодеет и тут же встаёт на место.

— Документы принести?

— Да не в документах дело. — Он машет рукой. — Говорите вы, как мой первый командир. Ему было сорок шесть, и он всё время считал наперёд, и его это бесило больше, чем нас.

— Может, я после той контузии стал скучнее, — говорю я.

— Может, — соглашается Рябов. — Ладно. Что вы от меня хотите ещё?

— Тетрадь.

— Какую тетрадь?

— Литвинов ведёт тетрадь признаков. Не расчёты, а то, чем отличают одно от другого. Я велел завести вторую и отдать Бурцеву.

Рябов хмурится.

— Это ещё зачем? У него и так карта, планшет, бортжурнал.

— Затем, что через месяц вы с ним разойдётесь по разным машинам, и его приём уйдёт вместе с ним.

— Какой приём?

— «Смотри мимо огня».

Рябов останавливается.

— Так это не приём, — говорит он. — Это я ему просто сказал.

— Вы ему сказали то, до чего дошли сами, за два года и, я думаю, не бесплатно. Он этим вчера нашёл цель. Сегодня у котла объяснял стрелкам на пальцах, откуда смотреть. Я слышал, как они начали спрашивать про свои случаи.

Рябов молчит.

— Вот это и есть приём, — говорю я. — Вещь, которую можно передать за двадцать секунд, если знать, как показать.

— И сколько у меня ещё таких, по-вашему?

— Штук двадцать. И вы про них не знаете, потому что они вам кажутся очевидными.

Рябов трёт лоб, размазывая полосу окончательно.

— Ладно, — говорит он. — Пусть заводит тетрадь. Только с одним условием.

— Каким?

— Что я туда тоже буду писать. А то он мои же слова запишет неправильно, и через полгода в полку будут учить чему-нибудь противоположному.

— Идёт.

Я поднимаюсь со ступеньки. Колено отзывается.

— Иванов, — говорит Рябов мне в спину.

— Да?

— Спасибо, что не полезли меня выводить вчера.

— Не за что.

— Есть за что. — Он лезет обратно на стремянку. — Если бы вы влезли, я бы пошёл за вами. И был бы всю жизнь уверен, что сам бы не нашёл.

Федю я нахожу у ремонтной стоянки.

Он сидит на перевёрнутом ящике с миской, но не ест — миска стоит рядом на земле, а сам он держит на коленях лист фанеры, на котором ещё вчера углём нарисовал схему секторов.

Рядом на корточках сидит сменный стрелок — тот, нижний, фамилия Дюжев, — и водит по схеме пальцем.

— Вот здесь, — говорит Дюжев. — Вот на этом месте. Когда мы с прожектора уходили, я его потерял, кто снизу-то. Совсем потерял. И начал крутить.

— И?

— И вспомнил твою метку. Ты ж говорил: если потерял — не крути, а вернись на метку и жди. Я вернулся. Он через три секунды оттуда и вылез.

Федя молчит.

Я стою в десяти шагах и вижу его профиль: он хмурится, и правая рука в косынке прижата к груди, и по нему видно, что сейчас он полезет искать, что надо поправить.

— Метку проверим ещё, — говорит Федя. — Не сбилась ли посадка, когда тебя в крене прижало. Если ты...

— Федь.

— Что?

— Да я тебе спасибо говорю, а ты мне про метку.

Федя осекается.

Он молодой совсем, и у него всё написано на лице, даже когда он старается. Сейчас на лице написано, что он не умеет принимать благодарность и что ему от неё физически неудобно, как от тесного воротника.

— Ну... — говорит он. — Ну, ладно.

— Не ладно, а спасибо.

— Да иди ты.

Дюжев смеётся, поднимается и уходит, а Федя остаётся сидеть с фанерой на коленях.

Я подхожу.

— Метку действительно надо двигать?

— Пока не знаю. — Он с готовностью хватается за это. — Сектор у установки тот же, а Дюжева в крене с места стянуло. Сначала посмотрю, как он упирается. Моя метка ему опору не заменит.

— Проверишь с ним.

— Проверю.

— Ешь давай, остынет.

Он берёт миску левой рукой, неловко.

— Товарищ старший лейтенант.

— М?

— А правда, что в приказе...

— Тебя назвали за подготовку сменщика, — говорю я. — Ты слышал, только, кажется, решил, что речь о другом Костенко.

Федя кивает и опускает глаза в миску.

— Ага. Понятно.

— Не всё понятно, — говорю я. — В приказе одна строка. А Дюжев сейчас рассказал тебе, что именно в этой строке: он вернулся на метку и снова нашёл свой сектор. Теперь это осталось в нём, даже если бумага потеряется.

Он ест и молчит.

— Всё равно обидно, что не летал? — спрашиваю.

— Немного. — Он жуёт. — Но меньше, чем думал.

Тимку я встречаю на полпути к санчасти.

Он идёт мне навстречу с наушниками на шее — не на голове, а именно на шее, как носят щёголи-радисты, — и по походке я вижу, что он доволен собой сверх обычного.

— Товарищ старший лейтенант!

— Журавлёв.

— Мне Савченко наушники вернул.

— Ему за это спасибо?

— Он сказал, — Тимка поднимает палец, — он сказал, что моя фраза лучше его объяснения.

— Какая фраза?

— «Повтори принятое». Он говорит: я бы пять минут растолковывал, что мне нужно, а тут три слова — и человек сам понял.

Я смотрю на него.

Левая сторона лица у Тимки всё ещё в повязке, и глаз под ней он бережёт: держит голову так, чтобы не переводить взгляд рывком. Когда он оборачивается, он оборачивается всем корпусом.

— Журавлёв.

— Я.

— Ты в приказе есть?

— Есть, — говорит он весело. — За землю и за Савченко. Я сначала не понял, что уже меня читают.

— Что не летал — грызёт?

Тимка задумывается — честно задумывается, секунды на три.

— Не-а, — говорит он. — Меня другое грызёт.

— Что?

— Что за инструкторские наушники пайка не дают.

И смотрит на меня в ожидании.

Я не смеюсь. Я делаю серьёзное лицо, какое умею делать только я, и говорю:

— Напиши рапорт.

— Товарищ старший лейтенант!

— Напиши, напиши. Через Плешакова. Он тебе объяснит, как оформляется требование на паёк за педагогическую деятельность.

Тимка ржёт и тут же морщится — смех дёргает щёку.

— Больно?

— Нормально.

— Не «нормально», а больно. Учись отвечать правильно, а то тебе Лида допуск не подпишет никогда.

Вот на этом слове он перестаёт смеяться.

— А она... — Он останавливается. — Товарищ старший лейтенант, она сказала когда?

— Не сказала.

— Совсем?

— Совсем. — Я кладу руку ему на плечо. — Тимка. Тебя сегодня похвалили за работу, которую ты сделал на земле. Это не аванс за кабину. Это отдельная вещь.

Он молчит.

— Ты хотел, чтоб было наоборот, — говорю я. — Чтоб похвалили и сразу пустили. Так не будет.

— Я понимаю.

— Не понимаешь. Но запомнил, и на сегодня хватит.

Плешаков находит меня сам в начале второго, и находит с тем особенным выражением, с каким техник приходит просить.

— Товарищ старший лейтенант. Есть разговор.

— Пробоина?

— Пробоина.

Мы идём к машине.

Дыра в обшивке оказывается не такой страшной, как я боялся ночью, и хуже, чем хотелось бы. Осколок вошёл под острым углом с правого борта, за центропланом, разорвал лист по волокну на длину ладони, задрал края наружу и вышел, ничего толком не задев.

Руденко уже здесь: забрался через открытый люк внутрь фюзеляжа и проверяет набор у разрыва.

— Стрингер целый, — говорит он оттуда. — Шпангоут целый. Повезло.

— Значит, только лист?

— Только лист. — Он выбирается, отряхивается. — Но лист нужен. Заплату из чего попало я ставить не буду, тут поток.

— Дюраль есть?

Плешаков и Руденко переглядываются, и по этому переглядыванию я понимаю, что разговор будет неприятный.

— Есть, — говорит Плешаков. — Лист есть. Один. И он обещан.

— Кому?

— Девятому борту. У них лючок и кусок капота.

Вот оно.

Я знаю, что сейчас надо сделать, потому что этот приём я применял раз двести в другой жизни и, честно говоря, он всегда работает. Надо сказать: ребята, у нас берлинский вылет, у нас приказ с двадцатью одной фамилией, дайте лист.

И лист дадут.

И через неделю я приду за чем-нибудь ещё, и опять дадут, а на третий раз Руденко начнёт прятать от меня материалы, как прятал от других. И будет прав.

— Покажи лист, — говорю я.

Лист лежит в дальнем углу мастерской, под брезентом, — здоровый, слегка помятый по краю, с чужой краской на половине площади.

Я смотрю на него, потом на Руденко.

— Семён Иваныч. Сколько тебе надо на девятый?

— На лючок — вот столько. — Он показывает руками. — И на капот полосу.

— То есть тебе нужен край и полоса.

— Ну.

— А середина?

Руденко молчит, потом чешет затылок.

— Середина мне без надобности, по правде. Я думал целиком резать, чтоб потом не мучиться.

— А если не целиком? Если мы вырежем нам середину, а тебе оставим край и полосу — тебе хватит?

Он подходит к листу, прикидывает, водит по нему пальцем, что-то бормочет.

— Хватит, — говорит наконец. — Хватит, если аккуратно резать. Но резать аккуратно — это время.

— Наше время, — говорю я. — Не ваше.

— Это как?

— Плешаков даёт тебе своих на разметку и на резку. Мои мотористы у тебя сегодня в подчинении на эту работу. Ты режешь так, как тебе удобно, а мы — руки.

Руденко смотрит на Плешакова.

Плешаков, надо отдать ему должное, не спорит ни секунды.

— Кириченко и Гнатюка дам, — говорит он. — Кириченко ножницами чисто режет.

— Тогда и вопроса нет, — говорит Руденко.

И вот здесь я делаю то, чего он от меня не ждёт.

— И ещё, — говорю я. — Записываем.

— Чего записываем?

— Что мы у девятого борта взяли середину листа. Запиши у себя, и я у себя запишу. Когда придёт материал, первый лист — им.

Руденко хмурится.

— Товарищ старший лейтенант, у нас тут не лавка.

— У нас тут хуже лавки, — говорю я. — В лавке хоть долги помнят. А у нас через месяц никто не вспомнит, кто у кого что взял, и девятый будет ходить и обижаться, что тринадцатому дают всё, а им ничего. Я не хочу, чтоб мою машину в полку звали любимицей. Мне с этими людьми ещё зимовать.

Руденко медленно кивает.

— Ну, пиши, — говорит он. — Раз тебе так спокойнее.

Сначала Руденко возвращается к пробоине. Кириченко убирает рваные края, через деревянный брусок выправляет кромку; Руденко проверяет, куда дошли трещины, и только после этого снимает точный картонный шаблон. Для девятого рядом ложатся свои шаблоны: лючок и полоса капота. По ним делят лист так, чтобы хватило обоим бортам.

Разметка, резка и подготовка крепления занимают три часа. Я остаюсь рядом на первые несколько минут: Кириченко ведёт ручные ножницы по черте, Гнатюк в рукавицах поддерживает отгибающийся край, не позволяя ему заломить нужную полосу. Когда край начинает уходить от разметки, Руденко останавливает ножницы, сам переставляет опору. Полоска снова ложится свободно.

— Вот теперь веди, — говорит он. — Не тяни лист за инструментом.

Я отхожу, пока они подгоняют отдельные куски. Вернувшись к концу работы, вижу у Руденко два сохранённых обрезка для девятого. Он кладёт на них свои шаблоны и впервые за день выглядит довольным.

— Хватает. Ещё и на подкладку останется.

Готовую накладку примеряют с предусмотренным перекрытием, размечают крепление по неповреждённому металлу и сверлят.

— Шаг какой? — спрашивает Кириченко.

— Тридцать пять, — говорит Руденко. — И по кромке не жадничай, отступи как положено, а то у тебя лист по заклёпкам треснет на первом же режиме.

Заклёпки ставят вдвоём: один держит поддержку изнутри, второй расклёпывает. Внутри фюзеляжа лежит Гнатюк и ругается вполголоса, потому что там тесно и потому что поддержка отдаёт в кисть.

Плешаков всё это время стоит в стороне и не лезет.

Я замечаю это и оцениваю.

— Не тянет? — спрашиваю.

— Чего?

— Руки не тянет за киянку.

— Тянет, — честно говорит Плешаков. — Только я по обшивке работать умею хуже Кириченко. У меня выйдет — самолёт полетит, но Руденко потом всю зиму будет мне это вспоминать.

— Мудро.

— Не мудро, товарищ старший лейтенант. Просто я один раз попробовал.

К вечеру на правом борту тринадцатого появляется заплата.

Она не красивая. Дюраль на ней светлее, чем вокруг, потому что старую краску облетело, а новой нет; заклёпки идут ровным двойным рядом, слегка блестят, и весь этот прямоугольник на серо-зелёном боку виден издалека.

Литвинов подходит, смотрит.

— Как медаль, — говорит он.

— Как заплата на штанах, — говорю я.

— Ну, тоже, если подумать, честно.

Дюжев трогает заклёпки пальцем и тут же отдёргивает руку, будто его застали.

— Крепко, — говорит он.

— Крепко, — соглашается Руденко, вытирая руки. — Ты в следующий раз так не подставляйся, и обойдёмся без крепко.

Лида перехватывает меня у санчасти, когда я иду от самолёта.

Она стоит в дверях, привалившись плечом к косяку, и по её позе я понимаю, что она стоит так уже минут пять и ждёт именно меня.

— Иванов.

— Ковалёва.

— Ты когда последний раз спал?

— Вчера днём, четыре часа.

— А после возвращения?

— После возвращения — ни минуты, — признаюсь я.

Она отлипает от косяка.

— Иди спи.

— У меня ещё...

— У тебя ещё ничего. — Она говорит это тем ровным тоном, который я за последние недели научился уважать больше, чем иные приказы. — Я смотрела расписание. Вы сегодня не летите. Плешаков машину закрыл до завтра. Гордеев сказал, что раньше вечера тебя видеть не хочет.

— Гордеев так сказал?

— Гордеев сказал: «Пусть выспится, а то он уже на людей бросается из-за приказов». Это цитата.

Я хочу возразить, но тут во мне что-то подламывается.

Это происходит не постепенно. Только что я стоял и был готов спорить, и вдруг понимаю, что если сейчас же не сяду, то сяду не по своей воле. Ноги делаются ватными снизу вверх, от ступней, и колено, которое ныло весь день, вдруг перестаёт ныть и просто становится чужим.

— Ладно, — говорю я.

Лида смотрит внимательно.

— Ты сейчас не геройствуй, — говорит она. — До землянки дойдёшь?

— Дойду.

— Точно?

— Ковалёва, — говорю я. — Если ты меня сейчас возьмёшь под руку через весь аэродром, то завтра весь Кагул будет обсуждать не Берлин.

Она фыркает.

— Господи. Тебе пятьдесят, что ли, лет, что ты о репутации думаешь.

Я чуть не спотыкаюсь на ровном месте.

— Вроде того, — говорю. — Иди, у тебя перевязки.

Перед тем как лечь, я делаю одну вещь, ради которой, собственно, и остаюсь на ногах ещё десять минут.

Я иду к дежурному по части.

Дежурит Круглов, младший лейтенант из штабных, немолодой, аккуратный, с той манерой всё переспрашивать, которая бесит в разговоре и спасает в деле.

— Круглов. Я ложусь.

— Понял.

— Не понял. Садись, пиши.

Он садится и берёт карандаш.

— Меня будить: первое — тревога любого уровня. Второе — если не вернётся любой борт к расчётному. Третье — если из штаба придёт боевое распоряжение на сегодняшнюю ночь. Четвёртое — если Плешаков скажет, что по машине есть что-то, чего он не может решить сам.

— А если Плешаков скажет, что может решить сам?

— Тогда пусть решает и меня не будит.

Круглов пишет.

# Глава 5



— Меня не будить, — продолжаю я, — если придут бумаги из штаба не боевые. Если приедет кто-нибудь посмотреть на нас после Берлина. Если позвонят уточнять фамилии в приказе. Если Журавлёв придёт с рапортом на паёк.

Круглов поднимает голову.

— С чем?

— Он поймёт. Запиши, это важно.

— Записал, — говорит Круглов с сомнением.

— И последнее. Всё, что по второму экипажу, — к Рябову. Он старший, пока я сплю. Не ко мне.

— А если он спросит вас?

— Он не спросит.

Круглов дочитывает список вслух, я подтверждаю, и вот теперь можно.

В землянке прохладно и пахнет землёй, сырым деревом и чужими сапогами.

Я ложусь на свою койку, не раздеваясь, только сбрасываю сапоги, — и лежу с открытыми глазами.

Сон не приходит.

Это знакомое: тело выключено, а голова ещё гонит. Я слышу шаги наверху, слышу, как кто-то проходит мимо входа, останавливается — и у меня внутри всё подбирается: сейчас откинут плащ-палатку и скажут «товарищ старший лейтенант».

Шаги уходят.

Через минуту — снова. Опять останавливаются. Опять уходят.

Я лежу и думаю о том, что двадцать одна фамилия — это, возможно, перебор и Гордеев прав. Потом думаю, что не перебор. Потом — что Бурцев завтра начнёт объяснять свой

приём «смотри мимо огня» всем подряд, и надо, чтобы это записали, пока он не забыл, как это делается. Потом — что надо проверить, действительно ли повторитель работает без потерь на дальнем плече или нам просто везло. Потом — что Тимкин глаз...

Потолок в землянке сколочен из горбыля, и один сучок в третьей доске от входа похож на профиль человека с длинным носом.

Я смотрю на этот сучок.

Шаги наверху ещё раз проходят мимо.

И всё.

Просыпаюсь я оттого, что рядом чем-то пахнет.

Это не тревога, не голос и не толчок в плечо. Это запах, и мозг, у которого за много лет выработана вся система приоритетов, честно сообщает: угрозы нет, но происходит что-то важное.

Я открываю глаза и первые секунды не понимаю, где я.

Потолок незнакомый. Совершенно незнакомый, хотя я на него смотрел перед тем, как заснуть. Сучок с длинным носом на месте, но он висит не там, где должен, и вообще всё лежит под другим углом.

Потом я соображаю, что просто повернулся во сне, и это открытие — что я повернулся во сне, — почему-то меня оглушает. Я не поворачиваюсь во сне. Я сплю, как лёг, и просыпаюсь, как лёг.

— Живой, — говорит Лида.

Она сидит на ящике у стены. На соседнем ящике, придвинутом к койке, стоит котелок, накрытый крышкой, и рядом лежит ложка.

— Сколько? — спрашиваю я.

Голос выходит незнакомый, хриплый.

— Четыре с четвертью.

— Чего четыре с четвертью?

— Часа, Иванов. Часа.

Я сажусь.

Сажусь — и понимаю, что мир поплыл: не кружится, а именно поплыл, как бывает, когда встаёшь слишком быстро после долгого сна.

— Тихо, тихо, — говорит Лида. — Посиди.

Я сижу.

Постепенно землянка возвращается на место. Через вход падает косой свет — последний вечерний, бледный, в нём висит пыль.

— Тревога была?

— Не было.

— Борта?

— Все на месте.

— Из штаба...

— Иванов. — Она наклоняется и снимает крышку с котелка. — Ничего не было. Ешь.

Из котелка идёт пар.

Каша — та же самая перловка с тушёнкой, которую сегодня раздавали у котла, но горячая, и по тому, насколько она горячая, я понимаю, что Лида не просто её принесла, а где-то грела.

— Ты со смены?

— Со смены.

— Давно?

— Полчаса.

Я беру ложку.

Ложка тёплая. Это мелочь совершенно дурацкая, но я держу её в пальцах и отмечаю: тёплая. Значит, стояла в котелке или рядом. Значит, кто-то об этом подумал.

Первая ложка проходит, и происходит странное: я вдруг понимаю, что хочу есть.

Не «надо поесть». Не «организму требуется». А хочу — так, как хотят в двадцать лет, когда желудок делается главным органом и сам решает за тебя.

Я ем.

Лида не говорит ни слова.

Она сидит на ящике, положив руки на колени, и смотрит в сторону входа. У неё усталое лицо — не то усталое, которое от бессонницы, а то, которое от количества людей. Я это лицо знаю: так выглядит человек, через которого за сутки прошло сорок чужих болей, и он честно на каждую отреагировал.

— Не спрашиваешь, — говорю я с полным ртом.

— О чём?

— О Берлине.

Лида пожимает плечом.

— А что о нём спрашивать. Попали — я слышала. Все вернулись — я видела. Остальное мне зачем?

— Все спрашивают.

— Я не все.

Я ем дальше.

За входом кто-то проходит, разговаривая; голоса удаляются. Слышно, как далеко работает мотор — прогоняют, наверное, на девятом. Пыль в косом луче медленно оседает и снова поднимается, когда мимо входа проходят.

— Ковалёва.

— М?

— Спасибо.

— Не за что.

— За кашу.

— Иванов, — говорит она, — ты когда последний раз ел сидя?

Я держу ложку над котелком, перебираю последние часы.

— Вчера перед вылетом. С вами, со всеми. Сегодня у котла так и не сел — слушал, потом к Рябову пошёл.

— Вот. — Она встаёт, поправляет сумку на плече. — Поэтому.

И вот здесь я делаю то, что делаю всегда, и в первую секунду даже не замечаю, что делаю.

Там остаётся ещё на треть котелка. Я протягиваю его ей.

— Доешь. Ты со смены.

Лида смотрит на котелок.

Потом на меня.

И у неё делается такое лицо, что я моментально понимаю: сказал глупость.

— Иванов.

— Что?

— Поставь на место.

— Ты...

— Я поела. Час назад, у котла, сидя, из своей миски, при трёх свидетелях. — Она садится обратно на ящик, и садится так, что становится ясно: пока я не доем, она не уйдёт. — А это твоя порция. Мыкола отложил, потому что ты не пришёл. И греть я её ходила не для того, чтобы ты мне её вернул из вежливости.

— Я не из вежливости.

— Из вежливости. У тебя это на лбу написано: «сейчас отдам, буду хороший».

Я сижу с котелком в руках и ничего не могу возразить, потому что она права.

Это и правда рефлекс. Старый, как я сам. В той жизни я отдавал последнее жене, дочери, штурману, дежурному технику — кому угодно, — и мне это казалось естественным и правильным, и только один раз, много лет назад, Вера сказала мне почти теми же словами: «Паша, ты этим не заботишься. Ты этим отказываешься быть человеком, о котором заботятся».

Я тогда не понял.

Я и сейчас не то чтобы понял. Но я вижу перед собой человека, который отстоял смену, потом пошёл греть чужую кашу, потом сидел тут неизвестно сколько и ждал, — и который сейчас требует от меня одного: съесть.

— Ладно, — говорю я.

— Ладно?

— Ладно.

И доедаю.

Лида молчит. Потом снимает руку с ремня сумки — она держалась за него всё это время, пальцами, крепко, — и разжимает пальцы, и трясёт кистью.

— Затекла?

— Ремень узкий, — говорит она. — Всё собираюсь подложить что-нибудь.

— Так подложи.

— Всё собираюсь.

Я ставлю пустой котелок на ящик.

Несколько секунд мы просто сидим — она на ящике, я на койке, — и никто ничего не говорит, и это оказывается совершенно не неловко.

За входом кто-то смеётся. Мотор на девятом выходит на режим, потом сбрасывает.

— Хороший день, — говорю я.

— Да, — соглашается Лида. — Хороший.

Лида забирает пустой котелок, придерживает у двери край плащ-палатки и выходит. Я ещё слышу, как она здоровается с проходящим санитаром.

Белова приходит около девяти вечера, и по ней сразу видно, что она пришла с чем-то, что ей самой не нравится.

Метеоролог Белова — женщина лет тридцати, узкая, в форме, которая ей велика, с обветренными руками и привычкой говорить, глядя не в лицо, а чуть вбок. В первую неделю я принял это за робость. Потом понял, что она просто думает, пока говорит, и лицо собеседника ей мешает.

— Товарищ старший лейтенант.

— Мария Фёдоровна.

— У меня прояснение.

Я жду.

— Ночью придёт холодный, — говорит она. — Слой разойдётся. С утра и до середины дня будет открыто.

— Насколько открыто?

— Совсем. — Она смотрит мимо меня, на стену. — Видимость больше десяти. Облачность высокая, редкая. Ветер слабый.

— Сколько это продержится?

— От рассвета часов до четырнадцати. Может, до пятнадцати. Потом с запада натянет.

Я думаю.

Восемь-девять часов открытого неба.

За последнюю неделю у нас было два дня, когда база просто лежала под низким слоем, и ничего не прилетало, потому что смотреть было не на что. Мы к этому привыкли настолько, что перестали замечать: наша безопасность держалась не на маскировке, а на погоде.

— Мария Фёдоровна, — говорю я. — Скажите мне про разведчика.

Она поднимает глаза — впервые за разговор.

— Не скажу.

— Почему?

— Потому что я не знаю, когда он прилетит и прилетит ли. — Она произносит это очень чётко, и я понимаю, что этот вопрос ей задавали раньше и, видимо, не один раз. — Я могу сказать, когда будет видно. Не могу сказать, когда прилетят смотреть. Это разные вещи, товарищ старший лейтенант.

— Совершенно согласен.

Она смотрит на меня с подозрением.

— Согласны?

— Абсолютно. Если бы вы мне сейчас назвали час, я бы вам не поверил и, что хуже, начал бы под этот час всё подгонять.

Белова чуть расслабляется.

— Вот и Гордееву я то же самое.

— И что Гордеев?

— Гордеев сказал: «Ну хоть примерно». — Она усмехается одним углом рта. — Я сказала: примерно — в светлое время.

Я смеюсь.

— Мария Фёдоровна, а вы мне вот что скажите. Когда именно слой пойдёт вверх? Утром сразу или постепенно?

— Постепенно. К рассвету будет ещё муть, часам к восьми поднимется, к девяти станет чисто.

— То есть у нас есть ночь и кусок утра.

— Есть.

Я иду к выходу, потом возвращаюсь.

— Ещё вопрос. Если я вас попрошу переехать — вы сможете продолжать наблюдения?

Белова замирает.

— Переехать куда?

— Не вас лично. Вообще. Мы сегодня будем растаскивать быт по укрытиям, чтоб с воздуха читалось меньше. Ваша площадка стоит на открытом.

— Моя площадка стоит на открытом, потому что ей надо стоять на открытом, — говорит Белова, и в голосе у неё появляется металл. — Я не могу мерить ветер из-под сосны.

— Я и не прошу из-под сосны. Я спрашиваю: что вам нужно, чтобы мерить там, где менее заметно?

Она думает.

— Приборы могут стоять где угодно, если есть обзор и если их не закрывает. Но будка... будку я не перенесу. Она тяжёлая, и журналы там.

— Сколько человек нужно?

— Четверо. И телега.

— Будет четверо и телега. Куда ставить?

Белова разворачивает свою карту — маленькую, засаленную по краям, всю в карандашных пометках, которые понятны только ей.

— Вот. — Она тычет пальцем. — Тут пригорок, ветер не экранирован, а сзади кустарник. И до командного пункта ближе, чем сейчас, я меньше бегать буду.

— Так почему вы раньше туда не встали?

— Потому что раньше никто не спрашивал, — говорит Белова. — Мне показали место и сказали: вот тут.

Я запоминаю это.

Не про будку — про то, что человеку два месяца никто не задавал вопроса, удобно ли ему работать.

— Четверых дам сейчас, — говорю я. — Под фонарями успеете?

— Успеем, если не рассусоливать.

— Не будем.

С Гордеевым мы говорим двадцать минут, и он соглашается через семь.

Остальные тринадцать уходят на детали, и детали эти оказываются важнее принципа.

— Столовую не тронь, — говорит Гордеев. — Я тебе кухню дробить не дам. У нас один котёл и один повар.

— Я не дроблю кухню. Я развожу места, где едят.

— Это одно и то же.

— Нет. — Я беру карандаш. — Смотри. Кухня остаётся, где стоит, Мыкола варит в одном котле. Меняется другое: люди не сходятся все сразу в одно место в одно время. Три точки раздачи, разнесённые по времени.

— Каша остынет.

— Каша остынет, если её нести в открытых котлах за километр. Мы её понесём в закрытых и на двести метров.

— У нас нет закрытых.

— У нас есть три термоса от санчасти, — говорю я, — которые Лида отдаст, потому что они у неё стоят пустые, и есть бачки с крышками, которые можно обмотать. Я уже спрашивал.

Гордеев смотрит на меня.

— Ты уже спрашивал.

— Спрашивал.

— До того, как пришёл ко мне.

— Я спрашивал, есть ли бачки. Разрешения я не спрашивал.

Он хмыкает и смотрит на схему.

— Ладно. Дальше что?

— Дальше койки.

— Койки-то зачем? Спят ночью, ночью не видно.

— Спят не только ночью, — говорю я. — И дело не в том, что видно человека. Дело в том, что видно место. Двадцать коек в одном ряду — это объект. Разведчик его снимет, и завтра нам сюда положат.

— А по четыре в пяти местах — это что?

— Это пять неинтересных пятен.

Гордеев барабанит пальцами по столу.

— Иванов, ты понимаешь, что люди устали? Ты их сейчас заставишь таскать койки вместо отдыха.

И вот тут я говорю то, ради чего вообще затеял разговор.

— Не заставлю. Мы перенесём то, что они сегодня и так делают.

— Не понял.

— Сегодня вечером у нас будет что? Люди сядут кучей и будут до ночи обсуждать Берлин. Это я гарантирую, это уже началось. Так вот: пусть обсуждают в новом месте. Мы не отнимаем у них вечер, мы его переносим вместе с лавками.

Гордеев молчит.

— И ещё, — добавляю я. — Если мы это сделаем сегодня, за счёт хорошего настроения, то завтра при тревоге они побегут в укрытия, где уже лежат их одеяла. Не в чужую яму, а к своим вещам. Это разница в полминуты, а полминуты — это жизнь.

— Хорошо, — говорит Гордеев. — Делай. Но повара уламывать пойдёшь сам.

Повара уламывать оказывается тяжелее, чем Гордеева.

Мыкола стоит у котла, скрестив руки на груди, и в этой позе в нём килограммов сто двадцать неодобрения.

— Ни.

— Мыкола Остапович...

— Ни, товарищ старший лейтенант. Вы мне одну кухню на три части не режьте. Я вам тут не фокусник.

— Кухня остаётся целиком.

— Як це ціла, если вы раздачу в три места тянете? Хто раздавать буде? У мене двое.

— Раздавать будут не ваши.

Он останавливается.

— А чьи?

— Назначу людей от подразделений. По одному на точку. Ваши накладывают в бачки, назначенные несут и раздают у себя.

— И перемешают всё, — мрачно говорит Мыкола. — И одному густо, другому жидко.

— Тогда пусть ваши накладывают в бачки помешивая.

— Учить мене будете?

— Не буду, — говорю я. — Вы правы: разольют по-разному, и кто-нибудь обидится. Поэтому предлагаю так: вы сами назначаете, кто из троих несёт первым и с какого конца котла черпать.

Мыкола смотрит на меня подозрительно.

— Це я буду командовать?

— Вы. Раздача — ваша.

Он думает, шевеля губами.

— Тры бачка мало, — говорит он наконец. — Каша в бачку остывает швидко, як несты далеко.

— Двести метров.

— Двести — це ничого. — Он прикидывает. — Двести донесут гарячим, як бигом. И щоб не сразу все три, а по черзи: перший понёс, другий накладываю, третий стоит на огне.

— Вот, — говорю я. — Вот это и есть то, что я у вас хотел спросить, а сам не додумался.

Мыкола расправляет плечи, снимает с края котла черпак и подзывает первого из будущих разносчиков.

— Тоди хай, — говорит он. — Але щоб бачки повертали чисті. Бо минулого разу...

— Будут чистые. Кто не вернёт чистый, тот у вас в следующий раз добавки не получит.

— О, — говорит Мыкола с явным удовольствием. — Це діло.

Перенос начинается после половины десятого. Дежурные ставят прикрытые фонари у проходов, чтобы носильщики видели края траншей.

Со стороны это, наверное, похоже на цыганский табор.

По полю в разные стороны тянутся люди с койками — койки несут вдвоём, за спинки, и они гремят; кто-то тащит свёрнутый матрац на плече, кто-то несёт стопку одеял, из которой торчит чей-то котелок. Двое волокут лавку. У лавки одна ножка короче, и её уронили ещё на прошлой неделе, и она теперь качается, и по этому поводу стоит долгая и содержательная перебранка.

Я хожу и смотрю, и почти не вмешиваюсь.

Один раз вмешиваюсь.

— Стой. Куда?

Двое парней тащат койки прямо ко входу в санитарное укрытие.

— Так свободно ж тут.

— Тут свободно, потому что тут ходят с носилками. — Я показываю рукой. — Прикиньте: несут человека на носилках, вбегают — и об вашу койку.

— Да мы ж отодвинем...

— Вы отодвинете, а в темноте кто отодвинет?

Они смотрят, соображают.

— Куда тогда?

— Вон туда, за поворот. Там и от входа не на прямой, и от ветра закрыто.

Это, впрочем, замечает не только мой глаз. Тимка, который увязался с носильщиками, стоит у входа в санитарное укрытие и хмуро оглядывает своё собственное хозяйство: он присмотрел себе место для работы — угол с навесом, где можно сидеть с журналом и наушниками, — и это место оказывается ровно напротив прохода.

— Не пойдёт, — говорит он сам себе.

— Что не пойдёт?

— Да я тут хотел сесть. — Он показывает. — Тут тень хорошая, и от генератора недалеко. А это ж прямо у них на дороге.

— Ну и?

— Ну и перенесу вон туда. — Он показывает на другой угол. — Хуже тень, зато не мешаю.

— Уверен?

— Товарищ старший лейтенант, — говорит Тимка с достоинством, — я, конечно, не доктор, но соображаю: если санитары об меня спотыкаться будут, то первым, кого они уронят, буду я.

Федю я нахожу на возвышении у третьей группы укрытий.

Он стоит там с той же своей фанерой — но теперь на ней не сектора, а нарисованная углём схема поля с крестиками.

— Что это?

— Распределение, — говорит Федя. — Вот тут двенадцать коек, вот тут восемь, вот тут шесть. Я считаю, кого куда.

— Тебе кто поручил?

— Никто. — Он пожимает здоровым плечом. — Просто они там внизу третий раз одни и те же койки туда-сюда носят, потому что каждый сам решает.

И он кричит вниз, поставив ладонь рупором:

— Гнатюк! Не туда! Ваши четыре — вон к тому кусту, левее! Там уже две стоят!

Снизу отвечают что-то неразборчивое.

— А ты-то что сам не носишь? — спрашиваю я и тут же жалею.

Федя смотрит на меня.

— А я одной рукой понесу, уроню и ещё вторую сломаю, — говорит он спокойно. — Тогда с меня вообще толку не будет.

— Молодец.

— Чего молодец?

— Того, что нашёл, где ты полезен, вместо того чтобы доказывать, что здоров.

Федя фыркает и кричит вниз:

— Кириченко, одеяла! Одеяла не в кучу, а по койкам сразу, потом в темноте разбирать будете!

К одиннадцати всё стоит на новых местах.

Я обхожу.

Пять групп. В каждой — от четырёх до двенадцати коек, у каждой навес или земляной откос, у каждой — сухое место для обуви, потому что об этом тоже надо было подумать, и додумался не я, а Руденко, который сказал: «Сапоги мокрые ставить некуда, так они их под койку суют, а потом обувают сырые и ноги гноят».

Сухие места сделали из досок и старого брезента.

У третьей группы горит маленький костерок в яме, и вокруг него сидят человек десять.

Я подхожу.

— ...а я говорю: не крути. А он крутит...

Это Дюжев. Он рассказывает — уже, наверное, в пятый раз за день, — про свой сектор, и его слушают, потому что сегодня можно.

Рядом сидит Бурцев. Он молчит, глядя в огонь, и у него на коленях — планшет. Он не работает, просто держит.

— Товарищ старший лейтенант!

# Глава 6



Двигаются, освобождают место.

Я сажусь.

Кто-то протягивает мне кружку. В кружке — тот самый чай, который на самом деле не чай, а кипяток с чем-то сушёным, но он горячий.

— Ну что, товарищ старший лейтенант, — говорит кто-то из темноты. — Завтра опять полетите?

— Не знаю.

— Как это не знаете?

— Так и не знаю, — говорю я. — Завтра решит тот, кто над нами, погода и состояние машин. Я знаю только, что сегодня не полетим.

— А хорошо бы ещё разок, — мечтательно говорит тот же голос. — Пока они там тушат.

Бурцев, не поднимая головы от огня, говорит:

— Там тушить нечего. Там внутри рвалось.

И все замолкают.

Потому что одно дело — когда про результат говорит командир, и совсем другое — когда штурман, который его видел, говорит это в темноте у костра, буднично, глядя в угли.

— Ты как его нашёл-то? — спрашивает Дюжев. — Ты ж говорил, слепило.

Бурцев поднимает голову.

И вот тут я вижу, как он меняется: только что сидел уставший человек, а теперь — человек, которому надо объяснить.

— Слушай сюда, — говорит он. — Вот костёр. Смотри в него.

Дюжев смотрит.

— Смотришь?

— Смотрю.

— А теперь скажи, что у тебя за костром. Вон там, за ним.

Дюжев щурится.

— Ничего.

— Темно?

— Темно.

— А теперь отведи глаза. Вот сюда, левее, и держи. И не в костёр. И посиди так, не торопись.

Все сидят и смотрят левее костра.

Проходит секунд двадцать.

— Ох ты, — говорит Дюжев. — Так там ящики.

— Ящики, — соглашается Бурцев. — Два ящика и лопата.

— Так вот же... а я смотрел — темно.

— Ты в огонь смотрел. Глаз, он под яркое подстраивается, а на всё остальное ему уже сил не хватает. — Бурцев говорит это теми же словами, какими ему сказал Рябов, и, судя по лицу, сам этого не замечает. — Мне надо было найти тёмное рядом со светлым. Я и смотрел мимо.

Молодой штурман — тот самый, который позавчера смеялся над доской, — сидит напротив и, забыв про кружку, смотрит на Бурцева.

— А записать это как? — спрашивает он.

— Чего записать?

— Ну, приём этот. Как его в карту-то занесёшь?

Литвинов выходит из темноты, придерживая повязку у груди, и опускается у края света.

— А его не в карту, — говорит он. — Его в отдельную тетрадь.

— В какую тетрадь?

Литвинов садится, устраивает левую руку на колене.

— Есть у меня тетрадь, — говорит он. — Я туда пишу признаки. Не маршруты, не расчёты. Признаки. Что видел, чем отличил, где ошибся.

— И что там уже есть?

— Уже есть про то, что пожар может быть чужой и старый. Про то, что основания прожекторных лучей помогают проверить уход от батареи, но собственной точки на карте не заменяют. Про то, что компас врёт не сразу, а постепенно, и надо иметь запасную опору. — Он смотрит на Бурцева. — А теперь будет про яркое и тёмное.

Бурцев хмыкает.

— Так я ж не сам придумал. Мне капитан сказал.

— И запишем, что сказал капитан. Кто сказал — тоже часть признака.

Я сижу, пью свой кипяток и молчу.

Потому что вот это — оно.

Это то, что я не смог бы приказать. Приказом можно заставить вести журнал, и его будут вести, и он будет мёртвый, и через месяц там будут одни и те же переписанные фразы.

А сейчас люди у костра сами передают друг другу приём, и завтра его будет знать половина эскадрильи, и не потому, что велели, а потому что интересно.

— Литвинов, — говорю я.

— Я.

— Тетрадь у тебя одна?

— Одна.

— Сделай вторую. И отдай Бурцеву.

Бурцев поднимает голову.

— Мне-то зачем?

— Затем, что если тетрадь одна и лежит она у моего штурмана, то это тетрадь тринадцатого борта. А если их две и вторая у седьмого, то это уже общая практика.

— А если у меня в ней будет не то, что у него?

— Вот и прекрасно, — говорю я. — Тогда через месяц сядете вдвоём и поспорите. Из спора и выйдет третья тетрадь, правильная.

Литвинов смеётся.

— Павел Сергеевич, ты сейчас наплодишь нам писанины на всю зиму.

— Напложу, — соглашаюсь я. — Зато весной будет что почитать.

Я ухожу от костра около полуночи.

За спиной продолжается разговор: теперь спорят про то, можно ли применять приём Бурцева на воде, и кто-то доказывает, что нельзя, потому что вода блестит вся.

Ночь тёплая и звёздная — и это как раз то, что мне не нравится.

Я стою посреди поля и смотрю вверх.

Слой действительно уходит. Белова не соврала: там, где вечером висела ровная муть, теперь видны звёзды, и их всё больше. Между ними тянутся редкие полосы высоких облаков, подсвеченных снизу ничем, — просто чуть светлее черноты.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.